Из пережитого. Том 2

Книга очерков - 1

Никита Петрович Гиляров-Платонов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ники́та Петро́вич Гиля́ров-Плато́нов (23 мая 1824, Коломна — 13 октября 1887, Санкт-Петербург) — русский публицист, общественный деятель, богослов, философ, литературный критик, мемуарист, преподаватель (бакалавр) МДА (1848–1855). Примыкал к славянофилам.

- Н.П. Гиляров-Платонов
  - Глава XXXIV
  - Глава XXXV
  - Глава XXXVI
  - Глава XXXVII
  - Глава XXXVIII
  - Глава XXXIX
  - Глава XL
  - Глава XLI
  - Глава XLII
  - Глава XLIII
  - Глава XLIV
  - Глава XLV
  - Глава XLVI
  - Глава XLVII

- Глава XLVIII
- Глава XLIX
- Глава L
- Глава LI
- Глава LII

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

Н.П. Гиляров-Платонов
Из пережитого
Том 2

Глава XXXIV
ПЕРЕХОД В СЕМИНАРИЮ

Продолжать ли? Не положить ли перо? «Представлен быт», как выразился я в предисловии, «мало или односторонне освещенный»; «первые духовные зерна», возросшие в нем, выслежены. Заметки о том и о другом могли быть не лишены значения для истории быта, для психологии, для педагогии. Но кому что даст рассказ о дальнейшем ходе моего развития и дальнейшей судьбе? Действие происходит в быту, менее отдаленном от обыкновенного; развитие из периода восприятий переходит в период деятельной мысли; начинается внутренняя работа, при которой внешний мир теряет часть своего действия; в рассказе должен неизбежно преобладать личный характер. Предупреждаю об этом читателя.

Совершенно новая жизнь потекла для меня по выходе из училища. Все другое: и курс, и товарищи, и город, и семья. Никакая другая семинария не кладет такой резкой грани, как Московская, и никакое другое училище, этот нижний этаж духовно-учебного здания, так не отрезан от своего верхнего жилья, как училище Коломенское. Между двумя этажами нет сообщений и никакого взаимного отголоска. Раз только во все семилетнее мое училищное поприще, один только раз приезжал как-то на Святки в Коломенскую бурсу гостить один «ритор», как соображаю я теперь, из очень плохих. Должно быть, зазвал его земляк-бурсак или родственник из тех совершенно безродных, которые даже на Святки и на Святую продолжали оставаться в бурсе. Помню этого ритора. Он держал себя командиром и посылал ребят ломать малиновые стволы, поручал состругивать верхнюю шкурку и учил курить ее вместо табаку. Находили, что «совсем как табак»; сообщаю это для сведения гг. подельщикам — не воспользуются ли? Ритор с тем вместе взял регентство над училищным хором, привезя несколько партесных переложений, не известных коломенским малолетним виртуозам. Ребята смотрели на него, раскрыв рот, и я в том числе: это пришлец из другого, высшего мира, о котором, впрочем, сам горний житель не распространялся, довольствуясь одним внешним обаянием.

Московская епархия есть единственная, в которой не одна, а две семинарии: одна в самой Москве, другая близ Троицы, в Вифанском монастыре. К каждой приписаны свои училища: к Московской — московские, в самой столице помещающиеся (их было в мое время три), одно подмосковное, Перервинское, тоже

почти столичное по местности (в шести верстах), и, наконец, Коломенское. В Вифанскую семинарию поступали из училищ Дмитровского и Звенигородского. По отношению к московским это училища провинциальные, и сама семинария Вифанская имела славу провинциальной. «Вифанец» — низшей породы существо, неотесанное, мало развитое. Морщась, отец-москвич выдавал за него дочь; пренебрежительно посматривали на него москвичи-сверстники; при одинаковых юридических правах москвичи пролезали и на лучшие епархиальные места; вифанцы ютились больше там где-то по селам и уездным городам, и притом своего вифанского округа. Одинаков учебный курс в той и другой семинарии, но предполагалось, что и учебная подготовка в Московской выше, нежели в Вифанской. Было некоторое основание для такого мнения: в Москву назначали из Академии лучших воспитанников для занятия кафедр; из Вифанской в Московскую переводили не только преподавателей, но и ректоров с инспекторами в виде повышения. А в сущности, пренебрежительный взгляд на Вифанскую семинарию был предрассудком. Вифанцы были только менее цивилизованы, грубее, не полированы, но в науке даже ближе московских. Они не бывали в театрах; иной и столицы совсем не видал; не умели ступить и сесть; со светским обществом, со светскою литературой никакого знакомства. Но близость к Академии давала особенное озарение. Академические знаменитости были свои для вифанца; от лекций академических слышались постоянные в Вифании отголоски, и у учеников более, нежели даже у профессоров. Вифанцы были постоянными переписчиками студентов; студенческие диссертации, профессорские лекции обращались между учениками; лучшие из «философов» и «богословов» ими пользовались для себя, припасали вторые экземпляры. Внешняя судьба Академии, ее профессоров и студентов была темой разговоров и преданий вифанских. И однако напоминание о «вифанстве» вызывало презрительную улыбку у москвича, и само начальство отдавало Московской семинарии почет. Такова сила преданий: Московская семинария была прямою наследницей Славяно-греко-латинской академии, а Вифанская — дочь домашней семинарии митрополита Платона, оставленная существовать единственно из уважения к личной памяти знаменитого иерарха и из сожаления к зданиям, которые без того осуждены были бы на запустение.

Коломенское училище было Вифанией своего рода для московских училищ, единственное провинциальное среди всех приписанных к Московской семинарии, забившееся где-то в углу, за сто верст. Это нечто вроде Звенигорода и Дмитрова, но тем и

путь-дорога в провинцию же, в Вифанию. Здесь, в Москве, — аристократы, большею частью дети священников и дьяконов московских; немного перервинских сирот (Перервинское было казеннокоштное училище), в большинстве тоже московского происхождения. Коломенцы были совсем другой шерсти в этом тонкорунном стаде; большинство их, впрочем, скоро и исчезло. И поступило-то нас, плебеев, едва ли тридцать человек в семинарию. А где они? И пятерых не насчитаешь в числе кончивших курс.

Нужно было меня в семинарию снарядить. Я отчасти и в училище выделялся уже своим платьем. Я носил брюки только один из двух во всем училище[1]; я носил манишку. Но я ходил зимой в тулупе и не носил исподнего нижнего платья, тогда как остальные, наоборот, не имея брюк, щеголяли в одних кальсонах. Итак, меня надобно было обшить. В чулане хранились от семинарских времен брата Александра его сюртуки и фраки, все однообразно синего сукна; из этого материала мне состроили сюртук. Порыжевшую от времени казинетовую рясу отца, темно-зеленого цвета, перекрасили в черный цвет и сшили мне ватную чуйку с плисовым воротником. А чтоб еще более предохранить меня от стужи, купили серой нанки, так называемого «мухояру», и изготовили ватный сюртук немного выше колен. Затем белье и еще необходимая вещь — войлок аршинной ширины или немногим более, обшитый тиком, и при нем подушка с ситцевою вечною наволокой: иначе, на чем же мне спать?

Снарядили меня, благословили, отправили, и отселе я в Москве. Забудь меня, родина!

Один из профессоров был товарищем брату по семинарии. С наступлением учебного времени брат повел меня к нему, представил. Здесь узнали мы, с какого дня начнется ученье. Полагаю, что тут же исполнены были разные формальности; по крайней мере я их не помню. Никому я не представлялся из начальства; не помню, кому бы вручил свое увольнительное из училища свидетельство; не помню переклички, которой не могло же не быть. Должно быть, все это, благодаря брату, обделано было без меня. Я узнал, что поступил во «вторую Риторику», то есть во второй параллельный класс Низшего отделения. Их было три, и при размещении учеников следовали, очевидно, порядку, в каком числились училища и в училищных списках ученики. Коломенское училище было последним из пяти, и я в нем был первым. Первенец Петровского училища попадал в первую Риторику, Андроньевского — во вторую, Донского — в третью, Перервинского — снова в первую, Коломенского — во вторую.

Семинария помещалась на Никольской, в Заиконоспасском

монастыре, на пепелище Славяно-греко-латинской академии. Трехэтажный фабрикообразный корпус, воздвигнутый на месте части академических зданий, жив доселе и смотрит чрез Китайскую стену на Театральную площадь. Только подвергся он с того времени новому разжалованию: была в нем некогда Академия, потом семинария, а ныне училище — в том самом корпусе, которого даже Академия не имела. От нее осталось двухэтажное продолжение дома — в мое время жилища начальства и профессоров; да еще двухэтажный флигель, тоже с квартирами профессоров; это здание памятно тем, что в академические времена тут жили «платоники», студенты из лучших, которых митрополит Платон содержал на свой счет и которые в силу того присоединяли к своей коренной фамилии другую — «Платонов».

Новое место учения внешностью своею не поразило меня: три этажа вместо двух, да вместо деревянной каменная лестница, обложенная чугунными плитами, затем коридор — вот вся была разница. Залы были просторнее коломенских; вместо плоских столов пред ученическими скамьями стояли пюпитры. Швейцарская, гардеробная, дежурная, ватерклозеты — все эти роскоши завелись уже в новой семинарии, устроившейся на другом месте, после меня. Но живой состав семинарии был совсем иной, нежели привык я видеть в училище. Развязные, по-своему важно державшие себя ребята. Все смотрели «большими»; да и действительно больших, с бритыми бородами, было довольно, а некоторые были и при бакенбардах. На многих были цилиндры, у некоторых трости в руках. Личных сапогов уже нет, все в брюках и жилетах; тулупов ни на ком, даже чуйки виднелись разве только на пятке или десятке; прочие ходили в шинелях и даже с меховым воротником некоторые (пальто еще не были изобретены тогда); мальчишеских игор вроде кулачных боев или вообще возни следа не было. И всё незнакомые лица! А между собою многие и знакомы, и друзья, перекидываются разговорами; толкутся на крыльце, шмыгают по лестнице. Не то ходят по коридору, а больше по аудитории, обнявшись, положив один другому руку на шею. Этого у нас в училище не водилось, как не знали мы вежливого обращения на «вы»; с «вы» обращались только к учителям. А здесь вперемежку слышишь между даже сверстниками и «ты», и «вы», второе даже по преимуществу.

Еще один невиданный обычай поразил меня: ученики здоровались пожиманием рук. Столь общий, по-видимому, обычай был для меня тогда совершенною новостью; не только в училище между мальчиками его не существовало, но и вообще я до того не видывал рукопожатий между кем бы то ни было.

Может быть, я читывал о нем в книгах, но и то совсем проскользнуло, не остановив внимания. Обычно ли было рукопожатие в московских училищах? Вероятно, да. Проник ли этот обычай теперь и во все училища? Тоже вероятно; и крестьяне, подмосковные по крайней мере, так теперь приветствуют друг друга. А обычай очевидно не народный. Француз жмет руку (serre la main), англичанин трясет руку (shake hands). Русский же «бьет по рукам»: но бьют по рукам не в смысле приветствия, а в смысле удостоверения. Теперь же и «жать руку» для приветствия вошло или входит в народный обычай, именно жать по-французски, а не трясти по-английски; участвуют в приветствии конечные два сустава или даже одна кисть, а не вся рука, начиная с плеча, как у англичанина. Точно так же и французское «вы» входит в народ, хотя туже. На этот раз оно есть и английское отчасти; но англичанин уже всем, даже собаке, говорит «вы», оставляя «ты» для торжественной речи и для Бога. В русском «ты» есть язык дружбы и близости, отчасти пренебрежения; в коренном же словоупотреблении оно есть законное обращение ко всем безразлично. Множественное в обращении к единственному лицу и даже к себе также законно, но в смысле, далеком от французского, приближающемся, скорее, к латинскому, где в первом лице допускается употребление множественного вместо единственного. Русский язык, применяя «мы» и «вы» к отдельному лицу, указывает на семью, род, мир, к которому лицо принадлежит (таково выражение «наш брат»), и первым лицом пользуется в этом смысле чаще, нежели вторым: «мы тебе покажем», «наше» или «ваше дело пахать». В отличие от латинского словоупотребления, сохранившегося в высочайших манифестах, архиерейских грамотах и у писателей, когда они говорят о себе лично, множественное в коренном русском означает не столько смирение, сколько похвальбу, уверенность в силе, которая присуща однородному, сплошному множеству.

Для этнографа это замечание будет не лишним. При более внимательном наблюдении можно открыть связь приветственных выражений с характером народа. Как русский человек говорит недаром «наш брат», так не случайно англичанин трясет руку, а не жмет; и еще менее случайно, что немец, обращаясь к высшему, не смеет даже чувствовать себя в его присутствии, относясь раболепно со словом «они» (Sie), а высший, гнушаясь присутствием низшего, говорит, обращаясь к нему, «он» (Er). Последнее обращение вышло из употребления, культура сделала свое дело; но даже Фридрих Великий не иначе чествовал философов и поэтов, когда обращался к ним лично, а весь немецкий народ доселе еще не освободился от того, чтобы видеть

в женщине вещь, «оно»; женского рода Frau, сначала прилагавшееся лишь к владетельным особам, еще не вытеснило среднего Weib.

Память мне не сохранила, как я пришел в назначенную аудиторию и кто мне ее указал. Помню, что прочтен был список секретарем правления (он же и учитель семинарии). Перечислены сначала «старые», то есть оставшиеся на повторительном курсе; затем ученики Петровского училища, Андроньевского и так по порядку. Пока дошли до Коломенского, ученики один за другим занимали места: на первых, на вторых, на третьих скамьях. Нам, коломенцам, как бы оборышам, достались две короткие скамьи, последние из последних, стоявшие перпендикулярно к первым. Впрочем, такое помещение представляло и свою выгоду: хотя и чрез головы целого ряда учеников, мы все-таки сидели лицом к профессорскому столу, по сторонам которого расположены скамьи. А мое место и тем было выгоднее, что, как первый, я сидел с края, и от профессора не загораживал меня, как моих соседей, ряд ученических голов.

Расселись мы, но тем класс и кончился. Ученье начнется только завтра. Разошлись мы, коломенцы, наравне со всеми, но с тревогой, которой прочие, вероятно, не ощущали. Мы так принижены, так бедно смотрели; а те все народ и бойкий, и щеголеватый, и между собою знакомый. Мы словно сироты, которых из жалости приняли во двор.

Глава XXXV
СЕМИНАРСКИЕ РАСПОРЯДКИ

На завтра все мы были в сборе и уселись чинно по местам в ожидании профессора. Одни «старые» расхаживали свободно по зале; к ним приходили знакомые «старые» из других классов; навертывались «философы», бывшие товарищи «старых» по Риторике. В промежуточные между уроками часы аудитория представляла своего рода клуб для этих вольных людей. Если б уже были известны в 1838 году папиросы, то стоял бы, наверное, в классе и дым столбом. Но тогда еще продолжалось исключительное царство трубки. Сигары же витали в высших классах общества; я лично не имел о них даже понятия и раз, встретив название «сигара» в книге, должен был обратиться за объяснением к отцу. Тот, однако, и сам не знал: «Табак, — сказал он, — завертывают в бумажку и курят»; в таком виде представлялась батюшке «сигара».

Трутни, с которыми я сравнил «старых» в одной из предшествующих глав, пытались и здесь присвоить себе над новичками господство; но к их несчастью, всего несколько суток пользовались они властью, да и та была фиктивная, основанная на неопытности и робости новопоступивших. Это не то, что в Синтаксии; там атрибуты действительной власти были в руках: цензорство, авдиторство, старшинство. А здесь «старшие» существуют только для бурсаков, для своекоштных же лишь номинально, да и назначаются из воспитанников Высшего отделения — «богословов». Цензор хотя есть, но без всякой власти, почти утратил и название цензора; его именуют чаще журналистом. И назначен он, как и вообще назначались, из казеннокоштных; а на грех, в нашем классе ни одного «старого» нет из казеннокоштных; журнал потому оказался в руках новичка (первого ученика из «Андроньевских»). Авдиторы тоже назначены; но здесь не так, как в училище, это учреждение настолько слабо, что, например, я не могу даже восстановить в памяти ни одного случая, когда бы «слушался». Ясно, что ученики смотрели на авдиторство как на пустую формальность, лишенную значения. И действительно, продолжалось оно всего месяца четыре, после чего было совсем упразднено; а и было только для уроков словесности.

Тем не менее «старые» держали себя высокомерно, обращались с замечаниями к молодым и даже дерзали наказывать, чему молодые безропотно покорялись.

— Ты что это развалился? Харчевня здесь, что ли? — обращается «старый» к кому-нибудь, сидящему слишком развязно.

— Не изволь разговаривать! — обращается к другому. — А ты это что? — кричит на третьего. — Скажите, каков! Он и руки на стол! Стой за это столбом.

С такими поучениями обращались, впрочем, к тем лишь, кто одет победнее; соображали, что неравно наскочишь на московского поповича; тот сам даст сдачи да еще пожалуется. К чести семинаристов прибавлю, что и из «старых» не все изъявляли притязания на эти приемы гувернанток с их «tenez-vous droit» [2]. В нашем классе не было даже ни одного такого; потешались приходящие из других Риторик. Может быть, и по природе наши были скромнее; а может быть, были и умнее, говорило сознание: какими же глазами посмею я смотреть после в глаза товарищам? Нашими наглость оказываема была в другом виде, и то одним Михаилом Ивановичем Грузовым, о котором еще будет речь далее. «Поди, напой чаем», — обращается он к какому-нибудь новичку, подзывая в трактир. А то и крикнет на весь класс: «Кто, господа, хочет со мною в трактир?» Легковерные пойдут в обеденные часы и заплатят за него. К слову сказать, в обращении ко множеству теперь употребляется слово «господа», тогда как в училище обычным призыванием было «братцы» или «ребята». С правом на рукопожатие «братец» обращался в «господина».

Судьба этого Грузова была особенная. Не без дарований, он кончил жалко, и погубила его ноздревщина, сидевшая в нем. Выйдя из семинарии студентом, получил дьяконское место в Москве. Пил, да не как все, с соблюдением бы приличий, а шлялся по трактирам и кабакам, не будучи, однако, пьяницей. Умер у него ребенок, и он с гробом дитяти, по дороге на кладбище, зашел в полпивную, не то кабак, подкрепить себя на путешествие. Долго ли коротко ли продолжались его подвиги в таком роде, он был расстрижен и кончил жизнь где? В веселом заведении или под забором где-нибудь в подобном месте.

Чрез неделю, а то и менее, класс сравнялся. Осмотрелись, пригляделись, старые смешались с молодыми. Не удержалась и первоначальная рассадка; каждый выбрал себе место по вкусу, который определялся составленными знакомствами, а отчасти степенью прилежания. Друзья, однокашники облюбовывали себе, в числе троих-четверых, определенный угол: балбесы удалялись в зад, где можно заняться болтовней. Перед оставался для более внимательных к урокам или желающих выставиться.

Учебные часы остались те же, что в училище: те же три двухчасовые класса в день, два пред обедом (от 8 до 12) и один

(от 2 до 4) после обеда; те же часовые или около того отдыхи между классами. Сверх субботнего вечера, который был гулевым в училище, прибавилось еще два, в понедельник и в четверг. Следовало ли так по программе? Сомневаюсь; раза два-три собирали нас на послеобеденные классы по понедельникам; осталось впечатление, что один из прогульных вечеров есть вольность, допущенная начальством.

Итак, в неделю приходилось учебных часов, говоря строго, всего пятнадцать с чем-нибудь, а на каждый день кругом менее трех. Семинаристы не могли жаловаться на утомление или опасаться искривления стана и порчи глаз. Естественнее спросить: чем наполнялось столь обширное пустое время? Во-первых, являлись позже звонка. В утреннюю перемену бродили по коридору, по двору, завтракали. Для денежных людей к услугам был булочник с хлебами, пирогами, вареною колбасой; к десяти часам он являлся неизменно. Менее достаточные, но знакомые с бурсаками, жившими в коридоре рядом, пользовались казенным черным хлебом, ломти которого целыми корзинами принашивались в нумера к тому же часу. В обеденное время квартировавшие вблизи кейфовали по домам. Но несносны были долгие обеденные часы для тех, которые жили в отдаленных частях города и обедать домой не уходили. Разбредались куда-то, впрочем, и эти, часть, между прочим, по трактирам.

Не могу не отметить странности, которая только сейчас всплывает в памяти. Я вел в начале семинарского курса какую-то бесплотную жизнь. Не помню, чтобы голодал. Вставши рано, зимой до света, подкрепив себя не более как чашкой чая с ломтем хлеба, я шагал от Новодевичьего монастыря пять верст на Никольскую и до возвращения домой в шестом часу вечера не чувствовал позыва на пищу. Я не отказывался закусить, когда приходилось, но никогда не приходила мысль: чего бы закусить? Равнодушно смотрел, как уписывали другие булку или пирог: пример не возбуждал аппетита. Не очень далеко от Семинарии жили двоюродные братья: в Овчинниках дьяконом был известный читателю Иван Васильевич Смирнов, а ближе, на Ильинке, дьячком у Николы Большого Креста, — родной его брат Василий Васильевич. Хаживал я иногда к ним в обеденное время и обедывал, но хаживал не за тем, чтобы пообедать, а от скуки и просто, чтобы повидать. Приходя домой, даже когда, по-видимому, утомление должно было дойти до последнего градуса, после двенадцатичасового воздержания и десятиверстного пути, я не набрасывался на пищу. Напротив, случалось, что заходил куда-нибудь еще вечером, отдалял время обеда еще на несколько часов, удлинял свой путь еще на несколько верст и не ощущал ни

усталости, ни голода, ни жажды. И я был цветущ и жив. Мускулы были слабо развиты, но весь дышал здоровьем; напротив, первую немоготу почувствовал именно тогда, когда поступил на более правильную, по-видимому, жизнь и на более сытную пищу. Вспоминая индийцев, довольствующихся полугорстью риса, и собственный опыт, колеблюсь признать безусловную верность теории питания, построенной на опытах откармливанья живности и на аппетите Джон Булля.

Постная жизнь, которую я вел, была, между прочим, причиной, что я не познакомился и с семинарским булочником. А вероятно, он был лицо, и материально, и нравственно связанное с Семинарией, как бывает в других учебных заведениях, как было по крайней мере в Коломенском училище и после у Троицы, в Академии. В Коломне Степан-калачник, Александр-сбитенщик и Акулина-маковница, образовавшие постоянный рынок у училищного двора, жили, по крайней мере первые двое, одною с учениками жизнью: не только знали всех, но интересовались успехами и неудачами каждого, проникались уважением к отлично учащимся, панибратски пренебрежительно обращались с лентяями и тупицами, трепетали пред экзаменами и даже помогали обманывать ревизоров. Задано письменное упражнение; насланный из Москвы ревизор сидит в зале. Но текст задачи спускается на нитке в окно; под окном отвязывают и бегут к отцу Диакону какому-нибудь, а то и священнику, и готовый перевод несут чрез полчаса снова на училищный двор. Снова ниточка, и ребята пользуются услугами, может быть, даже неизвестного им сострадательного благодетеля. Кто же отвязывал, кто привязывал, кто бегал, искал знатока латыни? Не ученик: опасно и некогда. Калачник или сбитенщик платят своею услугой в тяжелое время проценты потребителям за полученные с них барыши. А Алексей-хлебник у Троицы был живою историей Академии. Никто так твердо не помнил академических списков за целые десятки лет. Как в календаре, у него можно было справиться, кто в каком году кончил курс, с какою степенью, в каком нумере жил первые два года, в каком вторые; мало того, кто куда был назначен, потом перемещен и где теперь служит. Но участие Алексея было лишь историческое и вытекало из оснований экономических. Студент пользовался у него безусловным кредитом во все время курса, доходившим иногда до размеров учительского жалованья. Если не при окончании курса, при получении подъемных, то после, со службы, должник его разом или по частям очистит свои долг. Алексей в это верил и не бывал обманут; но это же и образовало из него ходячую летопись Академии. Писаны повести и драматические пьесы на тему о полковых собаках, полковых

сиротах; типы няньки, дядьки исчерпаны литературой; но тип училищного булочника не менее занимателен, где духовные, отчасти и научные интересы вливаются в душу безграмотного торговца, сорадующегося и сострадающего событиям, не имеющим отношения ни к калачам, ни к торговле. Благодаря этой нравственной связи, много мне в свое время выпало угощений и сбитнем, и булками, угощений совершенно бескорыстных, потому что ни вреда, ни пользы не мог я ничем оказать ни Степану, ни Александру, ни Акулине.

Сохранялась в семинарии и простота в расположении уроков, с какою мы знакомы были по училищу. Предметов преподавания в Риторическом классе было пять: 1) словесность, 2) гражданская история, 3) латинский язык, 4) греческий, 5) французский и немецкий — тот или другой по произволению. На профессоре словесности лежало преподавание и латинского языка.

Глубокий, глубочайший смысл лежал в старой школьной системе. Разумность поступания в формальном развитии очевидна; но не в этом одном ее достоинство, а, кроме того, в сосредоточенности и полноте действия, которые предполагались в каждом постепенном шаге. Три класса: Риторика, Философия и Богословие. В каждом по одному руководителю и по одному пособнику: в Риторике пособником профессора словесности — преподаватель истории; в Философии к преподавателю этой науки приставлен преподаватель математики; при профессоре богословия в Богословском классе стоит профессор церковной истории. Сосредоточивая учащегося под одним главным руководителем и над одним главным предметом, каждый класс с тем вместе был полным законченным курсом: риторика и гражданская история не переходили в Философский класс, и философия с математикой — в Богословский. Отсюда — двухлетний курс каждого класса.

Двумя преобразованиями разрушили эту систему. Программу отчасти разжидили, отчасти засорили; а потом отменили и разделение семинарии на три двухгодичные курса, заменив их шестью одногодичными классами. В последнем взяли, очевидно, пример с гимназий; основанием же выставлено то, что двухгодичные классы влекут-де за собою напрасную потерю времени для тех, кого приходится оставлять на повторительный курс. Итак, из-за нескольких лентяев и тупиц ниспровергнута целая система. Разделили бы по этой уважительной причине курс уже на семестры и образовали бы вместо шести двенадцать классов; лентяи с тупицами еще менее бы тогда теряли. А было время, когда на повторительный курс оставались добровольно, и притом юноши даровитые и прилежные, не скорбя о том, что

повторение продолжится не один год, а два. Преобразователи не вникли, что двухгодичные классы придуманы не из экономии, чтобы зал был меньше числом; число и продолжение классов соображено было с составом курса и с периодами умственного развития. Как учебные заведения вообще делятся на низшие, средние и высшие, так отнесенная к числу средних семинария, в частности, делилась на три периода, и каждому периоду даны соответственные науки, которые в них и начинались, и оканчивались. Это были факультеты своего рода, но факультеты последовательные, а не параллельные. Философия с Богословием были и действительными факультетами во времена старой Академии; Риторикой оканчивалась формальная зрелость; учащемуся предоставлялось слушать дальнейшие лекции в своих факультетах, в факультетах ли университетских.

Первая брешь была пробита именно в мое время. По окончании Риторического курса пришлось доканчивать остальные четыре года уже в преобразованной семинарии, правда, еще с двухлетними курсами (они длили свое существование еще с лишком двадцать лет, до нового преобразования). Применение нового устава испытано было мною отчасти даже в Риторике. В последний год неожиданно вошел в аудиторию преподаватель математики из Среднего отделения и начал объяснять исторические книги Ветхого Завета. Не помню, но, кажется, от словесности оторвали для этого предмета час в неделю. Впрочем, ничего и не вышло: и преподаватель являлся только для формы, и мы его не слушали; да и экзамена, помнится, от нас по этому предмету не требовали.

Реформа 1839 года исходила из такого возражения: семинарское образование слишком-де отвлеченно и мало применено к званию, которому служило приготовлением. Ввиду этого ввели: 1) истолкование Св. Писания во все классы, начиная с Низшего отделения; 2) в то же Низшее отделение ввели учение о богослужебных книгах (а после и алгебру с геометрией); 3) в Философский класс — библейскую историю, герменевтику, русскую гражданскую историю, физику (а после того и патристику еще), совершив ради новых гостей обрезание над самою философией и над математикой (из философии оставили только логику с психологией, а из математики выкинули тригонометрию); 4) к Богословскому классу прибавили гомилетику, церковную археологию, каноническое право, да, не довольствуясь тем, — еще сельское хозяйство и медицину. Если не считать сельского хозяйства и медицины, которые введены совсем уже без связи с общею программой, выходило по-своему стройно: науки пошли параллельно чрез весь курс, начиная с

первого года. Но этим введением параллельного порядка на место последовательного, этим поперечным сечением на место продольного, внимание учащихся было раздроблено, постепенность утрачена, из прежних наук самые главные ослаблены, а нововведенные и не привились, и остались без следа, даже проходя чрез память учащегося.

Впрочем, за исключением медицины с сельским хозяйством, новая программа не прибавила ничего такого, чему бы не нашлось места в старой: профессор богословия в состоянии был преподать (дельные и успевали преподать) и герменевтику, и экзегетику, и гомилетику, и притом в размерах не меньших, чем по новому уставу; профессор церковной истории в состоянии был сообщить (дельные и сообщали) сведения по патристике и археологии. И жалости было достойно, как при новом уставе подавалось учащимся совершенно то же, часто до буквальности повторяющееся, под разными именованиями и в разных одеяниях — богословия или экзегетики, церковной истории или патристики. Кроме рассеянности, неизбежной при множестве предметов, кроме потери времени на повторение тожественных положений и на изучение «введений» в разнообразные новые науки, получалось еще положительное развращение ума. Самоважнейшею частию курса все-таки продолжали считаться письменные упражнения. Предание об этом удержалось; соблюдалось и прежнее правило, что темы для сочинений даются по главным предметам в каждом классе. И это было еще спасением, что на практике понятие о задаче учебного воспитания не затерялось; следили более всего все-таки за развитием. Но в применении к новой программе чем эта добрая забота, между прочим, сказалась? В бывшем Философском классе главным предметом на второй год поставлено было учение об Отцах Церкви, после логики со психологией, которые служили главными для первого года. Легко представить себе разлад, вносимый в голову такою очередью наук; легко представить нескладицу, что тот же преподаватель, в качестве главного наставника, присажен к столь разнородным предметам, и легко представить развращение молодого ума, обязанного писать рассуждения об особенностях того и другого Отца или о значении того и другого творения отеческого, когда все сведение об Отце ограничивается заученным рукописным полулистиком, сообщающим сухой перечень заглавий и два, три более или менее короткие изречения. Благодарение судьбе, меня миновала эта беда: так как происходил самый перелом программы, то патрологию не успели ввести тогда в Философский класс и возвысить в чин главной науки; я слушал ее уже в Богословском

классе, и значилась она не главным, напротив, едва не последним предметом, а потому от обязанности самоизмышленных мудрований над историческими темами Бог меня миловал.

Риторический класс, как сказал я выше, считался в старину последнею стадией формальной зрелости; из него поступали уже в университет, между прочим. Так было в Славяно-греко-латинской академии; так продолжалось и в семинарии до тридцатых годов. Риторы поэтому не считались мальчиками. В мое время прямой переход из Риторического класса в университет был затруднен, но, по преданию, с нами обращались почти как с взрослыми. Об училищных наказаниях вроде сеченья или коленопреклоненья не было помина. Хотя между семинаристами было сознание, что риторов можно сечь, и ходили слухи, что после экзаменов призывают учеников, дурно себя ведущих, в правление и там их секут, но не припомню ни одного определенного случая в этом роде во все свое двухлетнее пребывание в Риторическом классе. Более обыкновенным наказанием для провинившихся было «сажанье за голодный стол» в бурсацкой столовой; существовал карцер; но применения были редки во всяком случае. Большинство профессоров даже с нами, риторами, обращалось на «вы». Право единственного числа оставалось за ректором и инспектором по отношению к учащимся всех классов, и за главными наставниками по отношению к риторам. Завелось это само собою, без понуждений и программ. На говоривших «ты» ученики не обижались, вежливым с собою обращением не кичились. Бывало, что в том же классе и тот же преподаватель обращается к одному с «ты», к другому с «вы», и выходило естественно, не возбуждая удивления. Разница обращения вызывалась неодинаковою заслугой учащегося и молча всеми признавалась.

О дисциплине, господствовавшей в семинарской бурсе, не имею понятия. Но кроме казеннокоштных, помещавшихся в самом здании Семинарии, семинаристы располагались общежитиями в двух монастырях, дававших даровое помещение (Богоявленском и Златоустовском), и в так называемом Остермановом доме. Это был дом за Каретным рядом, купленный Комиссией духовных училищ у наследников графа Остермана и назначенный для сооружения новой семинарии. В период стройки один из старых флигелей отдавался на житье семинаристам. Там, как и в двух поименованных монастырях, они вели свое хозяйство, то есть нанимали повара и покупали провизию. Порядки были вроде училищных: те же «старшие», та же невообразимая грязь и бедность, пред которыми самая бурса, нумера казеннокоштных, могла казаться роскошью. Тут было светло и по возможности

чисто; постели опрятны до известной степени. А бывал я в общежитии Богоявленского монастыря: нижний этаж, низкие комнаты, почти нет света, воздух нестерпимый, почти то же, что в Коломенской бурсе. Наведывались, между тем, по временам субинспекторы, и крошечку прибавить заботы о чистоте ничего бы не стоило. Но не ощущали в ней потребности ни подчиненные, ни начальство.

Над своекоштными, рассеянными по одиночным квартирам и родительским домам, надзора не было никакого, хотя и числились по городу «старшие». Своекоштные были вольные птицы.

Глава XXXVI
ИСПЫТАНИЕ

Когда это произошло? Через неделю после первоначальной нашей рассадки или раньше? Что вообще происходило в первые дни, как явился к нам один профессор и другой профессор, о чем они говорили, какие уроки нам были заданы, с чьей тетради я списывал учебник словесности и даже списывал ли, где добыл учебник Кайданова по всеобщей гражданской истории и даже обладал ли этою книгой, как и где учил уроки, как и у кого «слушался» — все затмилось. Как будто авдитором был Солнцев, уже взрослый малый, бривший бороду, белокурый, со звонким голосом, позволявшим ему отвечать уроки по истории с особенною отчетливостью звуков, отчеканивать. Так темно припоминается все, что не вполне решаюсь себе доверить. Яснее помню, как вошел к нам лектор греческого языка (преподавателями греческого и французского с немецким были в Низшем отделении лекторы, ученики Богословия). Помню, что это было в утренний класс, да и то удержалось в памяти лишь по особенной искривленной улыбке, которая свойственна была лектору и которую я тотчас же, при первом разе, заметил, удержал в памяти и доселе живо представляю. Помню еще приход инспектора, иеромонаха Евсевия (скончавшегося архиепископом Могилевским, кажется, в прошлом году). Приходил он пред тем, как мы должны были объявить, которому из языков кто из нас желает учиться, французскому или немецкому. Что-то он говорил, кажется о новых языках вообще, и, по-видимому, рекомендовал немецкий на том основании, что немецкая литература обилует учеными книгами. Но все это «по-видимому», «кажется» и «будто». Помню еще, и это достоверно, что собирались деньги (от меня ничего не сошло) на покупку книг для ученического чтения; что куплены были «Часы благоговения» и сочинения Жуковского. Это было тоже в первое время, но когда именно, о том не помню. Множество мелочей из коломенской, более ранней жизни ясны в памяти, а семинарский период и самое его начало, которое, казалось бы, должно всего неизгладимее запечатлеться по резкости перехода, тускло мерцают.

Брал ли я «Часы благоговения»? Кажется, нет, и если брал у кого-нибудь на посмотрение в течение четверти часа, то читать, наверное, более двух-трех страниц не читал. Еще не кончился тот период, когда рассуждения и чувствования в книгах вообще мною пропускались.

Почему избрал я французский язык, а не немецкий? Это помню. 1) Потому что присоветовал брат, сам учившийся хотя по-немецки, но недовольный этим. Незнание французского языка особенно давало ему чувствовать свою невыгоду в то время, когда он жил у Киреевских, где семейство и все знакомое общество преимущественно объяснялись по-французски. 2) Я уже начинал учиться самоучкой французскому, переписал собственноручно правила произношения, составленные знакомым брата И.И. Горлицыным, и заучил наизусть исключения из правил. 3) Мне претила немецкая печать: какие-то каракули, «тараканьи ножки», как я их тогда называл. Каждая буква казалась насекомым и возбуждала омерзение, которое усилилось тем более впоследствии, когда товарищи показали мне письменное начертание букв. Искусственность начертания, удаление от ясной простоты латинского меня возмущали. И не предполагал я, что будет чрез шесть лет со мною! Положим, с азбукой немецкою я до сих пор не примирился, но никак не мог я ожидать, чтобы полюбил впоследствии литературу немецкую и восчувствовал, наоборот, брезгливость ко французской.

По отношению к описываемому периоду жизни вообще я нахожу себя в положении археолога, который по сохранившимся обломкам и отрывкам пытается угадать утратившиеся части и сравнительным путем определяет хронологическую данную, в летописях умолчанную. Когда я, например, в гроте Александровского сада встретил француза-путешественника, заинтересовавшегося книжкой, бывшей у меня в руках, и записавшего ее заглавие? В каком году это было, 1839, 1840 или 1841? Начинаю соображать время года, час дня и по этим и другим признакам определяю первоначально, когда этого не могло быть. Отсюда уже, по соображению других обстоятельств, прихожу к достоверному заключению, что происшествие случилось в августе 1841 года. Таким-то образом восстановляю и всю историю шести лет, но восстановляю притом не самое пребывание в семинарии, а обстоятельства внешние, современные семинарии, и по ним уже семинарию. Оттого это, полагаю я, что семинария во внутреннем моем росте мало участвовала; он был плодом внутренней работы. Разве я учил уроки? Никогда. Разве я слушал профессоров? Я более над ними смеялся; а начиная со Среднего отделения (Философии), только и знал, что смеялся, смеялся внутренно и критиковал их в товарищеских беседах, подцеплял ошибки, уличал невежество (не в глаза, конечно). Когда прохождение курса оказывалось только внешним прикосновением к нему, он и не мог оставить глубокого следа: пренебрежение сказалось забвением.

Но свежо помню обстоятельство первых дней Риторического курса, озаглавленное выше словом «испытание». Чрез неделю ли после поступления, раньше ли, позже ли это случилось, профессор словесности Семен Николаевич Орлов явился с книгой (как после оказалось — Овидия) и вызвал сидевшего первым на первой скамье, первенца из «старых» (помню его фамилию: Страхов). Раскрыл книгу, подал Страхову, указал место. За дальностью профессорского стола осталось мне неизвестным содержание их беседы. Отпустил Страхова; вызывает первенца из учеников Петровского училища, к нам поступивших; книга опять подается, опять указывается место, опять неизвестные переговоры. По уходе Сперанского (из Петровского) вызывается первенец Андроньевский, затем Перервинский. Наконец дошла до меня очередь. Овидий, вижу. Указывается место; перевожу.

— Да у вас это переводили? — спрашивает профессор подозрительно.

— Нет.

— Почему же ты это знаешь? Что такое Di?

— Di — сокращенное Dii, — отвечаю я ему, догадываясь теперь, что, должно быть, мои предшественники не выразумели этой формы. «Не ахти же они какие латинисты», — подумал я.

Раскрыл профессор другую страницу; снова заставил перевести. Снова я перевел безошибочно.

— А какой это размер?

Я хотя в просодии и не был силен, однако ответил опять без ошибки и был отпущен на место.

День прошел или два затем, не помню опять. Занимались латинским языком; переводили книжку «Selectae historiae» [3]. Переводит упомянутый Страхов. Страницу перевел. Выслушав перевод, обращается к переводившему профессор:

— А о чем это переводили? Скажи наизусть; повтори наизусть место, которое ты перевел.

Страхов затруднился, замялся.

— Гиляров!

Я встаю.

— Можешь наизусть повторить переведенное сейчас?

Я повторил, может быть, и не буквально, и даже вернее всего, что не буквально, потому что профессор бы так не поразился. Я ответил, должно быть, свободно, с переменой некоторых выражений на другие, но с сохранением стиля и без пропусков.

Должно быть, однако, все-таки усомнился профессор. Сидел я далеко. Может быть, думал он, подсказывали или искоса я заглядывал в книгу. Вызывает меня к столу, книгу в руки. Читаю и перевожу.

— Дальше. Читаю и перевожу.

— Дальше. Иду дальше.

— Закрой книгу. Закрываю.

— Скажи наизусть, что переводил. Повторяю безукоризненно.

Развертывается книга в другом месте. Снова требование перевода, и на этот раз страницы три или четыре уже. Я предугадываю, что должно последовать, и тем внимательнее слежу за переводимым.

Книга у меня взята.

— Скажи наизусть; повтори.

Повторяю столь же безошибочно, как и прежде. Профессор возвышает голос и, обращаясь ко всему классу, произносит, указывая головой на меня:

— Уважайте его.

Предоставляю читателю судить о впечатлении, произведенном на меня этим громогласным воззванием, этим неожиданным и, вероятно, даже небывалым в этих стенах превознесением ученика. Я не слышал земли под собою, когда в своем мухояровом сюртуке возвращался на место, отпущенный профессором. Невыразимое смущение чувствовал я, видя поднятые на меня всеми глаза при восклицании наставника.

Еще день прошел, или два, или три, не помню. Дошла речь в риторике до периодов. Все периоды были для меня лапоть простой после прошлогодних упражнений. Даны профессором объяснения, более или менее обстоятельные, указаны примеры, выучены другие примеры по учебнику, и задано было первое сочинение — период простой на тему «Благочестие полезно». Растолковано.

Период, да еще простой! Как-то даже стыдно руки марать такою безделицей. Передаю брату. Советуемся: что бы написать? Не период же простой. Я решил и брат одобрил написать «Разговор о пользе благочестия». Написал без труда; показал брату; брат поправил кое-где (более повычеркнул казавшееся ему лишним). Переписываю и подаю наутро, не уверенный еще, однако, что одобрительно посмотрят на мою вольность. Велено период, а я пишу разговор! Успокоивало только памятное воззвание: «Уважайте». Снизойдут, по крайней мере не будет выговора; а в то же время покажу, что могу кое-что и большее, нежели период.

День или два еще прошло. Профессор приносит в класс мое сочинение, читает вслух, подвергает рецензии учеников. Ученики не в состоянии ее дать; один изъявил сомнение в подлинности, но профессор поддержал меня, удостоверил, что сочинение не могло быть списанным, и возвратил мне мое писание с надписью:

«Отлично хорошо; сочинение это свидетельствует о необыкновенных дарованиях сочинителя».

Этот опыт «необыкновенных» дарований моих сохранился у меня. Как-то просматривал я его и раздумывал: что же такого необыкновенного показалось незабвенному Семену Николаевичу? Безошибочное правописание, так; складная речь, но и все. Между тем детски, пошло, мыслишки ходячие, общие места. Необыкновенно было среди других; но то их было несчастие или мое особенное счастие, что я уже наметался в письме, пропасть читал, а они лишены были этого; но это еще не дарование! Спрашивал я себя: какой отзыв я бы написал, когда бы по окончании академического курса пришлось мне сесть за профессорский стол по классу словесности и вместо заданного периода простого подан бы мне был новичком учеником именно этот самый «Разговор»? Правда, я этой темы бы и не дал ученикам для первого раза, а придумал бы более конкретную; но какой отзыв мною был бы дан? Затрудняюсь сказать; во всяком случае, похвала была преувеличенная.

Задан был и еще период на тему: «Полезно читать книги», и я снова написал Разговор, и снова получил отличное одобрение. Снова период, темы не помню: я пишу на нее Письмо. Идут своим чередом изустные экспромты, русские и латинские; в них я уже не мудрил, но отвечал, разумеется, безукоризненно. Так прошли недели две или три, едва ли больше, скорее менее, когда пришлось перенести испытание уже в другом смысле. Профессор захворал, а через несколько дней, едва ли даже неделя прошла, объявлено, что Семен Николаевич умер; нас приглашают на панихиду, а потом на похороны, ради которых и класса в этот день не будет. Большинство ребят, может быть, порадовалось даже такому неожиданному случаю вакации среди учебного времени. Но глубоко было мое горе: я поражен был едва ли даже меньше, нежели молодая оставшаяся вдова Орлова, не наслаждавшаяся и года супружеским счастием. Помню октябрьский день похорон: грязь и снег хлопьями; ни в дом, ни в церковь (Девяти Мучеников под Новинским, где покойный жил у тестя протоиерея) проникнуть нельзя; распорядительности не хватило облегчить ученикам доступ к прощанью. Унылый я возвратился к себе под Девичий, и душа попросила излить свои чувства. Если бы я владел стихом, то плодом моих чувств было бы стихотворение. Я написал письмо к вымышленному другу. Оно не сохранилось, но, вероятно, было не дурно, хотя зять мой, муж моей старшей сестры, прочитав чрез несколько месяцев это мое произведение, нашел, что оно не довольно пламенно. «Нет Агатона, нет моего друга! — продекламировал он из

Карамзина. — Вот как следовало бы начать!» Замечание подействовало на меня неприятно, как профанация чувства, которое было искренно, свято, глубоко и не нуждалось в риторических прикрасах.

Низведение калифа на час в простые смертные, таково стало мое положение после потери профессора. Я опять новичок из Коломенского училища, обязанный зарекомендовать себя среди других. Притом наступило междуцарствие; впредь до нового профессора к нам ходил временно преподаватель из другого класса. Душа его к нам, пасынкам, не могла лежать; он должен был отнестись к нам небрежно. И действительно, сочинения, подаваемые ему, не сдавались обратно; не все он их и читал, в чем я удостоверился, когда мне отданы были мои после. Затем сам он был новичок, только что сошедший с академической скамьи. Он еще не приметался к делу; его можно было морочить, и его морочили. Помянутый в предшедшей главе Грузов не давал ему отдыха своими вопросами, возражениями, рассуждениями. То и дело вставал Михаил Иванович, прерывал профессора, завязывалась между ним и профессором беседа.

«Прерывал профессора…». Читатель может недоумевать. В объяснение напомню о диспутах, которые в академические и первые семинарские времена были существенною частью преподавания (в высших классах). Обычай правильных диспутов с официальными оппонентами и дефендентами прекратился, но осталось право, никем не выговоренное и нигде не писанное, возражать на преподаваемое, предлагать недоумения. Преподаватель обращался в дефендента, и завязывалось подобие диспута. Немногие из учащихся прибегали к этому способу, не все преподаватели с одинаковою охотой его допускали, но никто не находил в нем нарушения учебной дисциплины. Естественно желание учащегося глубоко и основательно усвоить уроки; законна обязанность преподавателя идти любознательности навстречу. Грузов воспользовался обычаем и, видя неопытность профессора, пускал пыль в глаза. На меня нагнал он некоторый даже страх; прения происходили не далее как о каких-нибудь периодах или состояли в разборе какого-нибудь примера на правило, приведенное в учебнике; но Грузов употреблял ученые термины, заносился в философию, и я смирялся, не догадываясь о шарлатанстве. Не догадывался и добродушный И.А. Беляев, временный преподаватель словесности, и пускался в западню, которую подставлял ему ученик, держа высокую речь.

Так прошло до Святок. Задаванье письменных упражнений и изустных экспромптов шло своим чередом; к последним прибегал Беляев, впрочем не часто, и преподавал вообще вяло. Не помню,

дошли ли мы к Святкам до хрий, но я на заданные для периодов темы писал и периоды, и хрии, и даже маленькие рассуждения, хотя называл их хрией. Наступили экзамены, составлены списки; по словесности Грузов-диспутант был поставлен первым, Страхов (первый из «старых») — вторым, я — третьим. По истории я значился вторым, а первым — Солнцев, мой авдитор; ему доставил первое место звонкий голос и умение с толком читать, а мне второе место, должно быть дано за сочинение на тему «Леонид при Термопилах», заданную профессором истории. Каким значился я в греческом и во французском классе, не помню; да едва ли даже тогда интересовался знать; успех и неуспех по этим двум предметам ни во что не считался тогда. А по одному письменному упражнению (перевод с греческого и французского) было дано и лекторами, и эти переводы, должно быть, послужили к определению моих знаний, потому что изустных переводов от меня во весь семестр почти не спрашивали; не осталось по крайней мере в памяти ни одного случая.

Не помню я, как и экзамен прошел, кто нас экзаменовал и в какой зале. Экзаменовал непременно ректор, и эта первая встреча лицом к лицу с главным начальником заведения должна бы оставить впечатление; но оно вылетело из головы. Должны бы первые экзамены запечатлеться и потому еще, что здесь, не как в училище, вызывали на экзамене не всех по каждому предмету. И эта черта вообще замечательна: чем далее мы продвигались в семинарии, тем менее полны становились испытания; они производились внимательно только по первостепенным предметам; по второстепенным же, особенно третьестепенным, спросят пятерых, шестерых на выдержку, и только. От первого семинарского экзамена остался у меня в памяти, однако, экзаменатор по французскому классу, профессор А.Ф. Кирьяков. Он поразил меня своим изящным видом, красивым лицом, ослепительно чистым бельем при черном фраке и чрезвычайно деликатным, вежливым обращением. Внешностью он резко выделялся из среды своих товарищей, и это помогло первой встрече моей с ним удержаться в моей памяти.

К Святкам профессором словесности на место умершего С.Н. Орлова назначен Н.И. Надеждин, здравствующий доселе в сане московского протоиерея. В первый же класс по своем поступлении он произвел нам испытание (это было уже после Святок), задал письменный экспромпт, не помню, на какую тему. Тема была на латинском языке; я написал chriam ordinatam [4] и заслужил отзыв ualde bene [5]. Этот ли опыт, другие ли сочинения, которые подавал я неутомимо и на заданные, и на произвольные темы,

устные ли ответы привлекли на меня внимание, я к следующему семестральному экзамену, пред вакацией, поставлен был первым, и это место почти без перерыва потом сохранилось за мною до окончания курса. Прочие профессора обыкновенно принимали за основание в своих списках список, составленный главным наставником, и лишь слегка видоизменяли его, сообразно своим наблюдениям по своему предмету преподавания. Таким образом, первенство по словесности отразилось первенством почти по всем остальным классам и наукам и на весь семинарский курс. В первый семестр Богословского класса я оказался вторым; поступили мы из двух параллельных отделений Философии, и я из второго отделения. Но первенец первого отделения во второй же семестр вышел из семинарии, поступил в университет, и первенство снова перешло ко мне.

Глава XXXVII
УРОВЕНЬ ПРЕПОДАВАНИЯ

Пробегаю мысленно весь шестилетний семинарский курс и напрягаюсь определить: что мне он дал, намного ли и в какой последовательности распространял мои знания и возвышал развитие? Бесплодно старание. Развитие шло помимо аудиторий и отчасти вопреки им; тетрадки и книжки, служившие учебниками, часто возбуждали мысли в обратную сторону своею неудо-влетворительностию, а как эмпирический материал сведений могли быть исчерпаны в день, в два, в неделю. Преподаватели были посредственные, а по второстепенным предметам, можно сказать, совсем даже не было преподавания. Преподаватели ходили для формы, для формы сидели ученики за скамьями; для формы спрашивали и отвечали; экзамены и тем более были формою, да их почти и не производилось. Большая часть преподавателей сами не знали своего предмета, сами должны были ему учиться; но даже и не учились, а довольствовались тем, что добывали академические лекции, сокращали и стряпали учебник, не заботясь далее ни о чем. Да и почему иначе? Назначен на кафедру без сверки о том, приготовлен ли к своему предмету; и притом сегодня преподает гомилетику и греческий язык или математику и Священное Писание, а завтра «Психологию и соединенные с оною предметы». Не правда ли, как мило это наименование, вошедшее в официальное употребление? «Психология и соединенные с оною предметы» могли означать разное: психологию и патрологию или психологию, патрологию и еврейский язык, и, наконец, что угодно: «соединение с оною предметов» определялось не внутреннею связью наук, а пределами, в каких представлялось удобным распределить кафедры по количеству учебных часов и наличности преподавательских сил.

По старой программе не только ученик, но и учащий был сосредоточен; каждый наставник ведал одну науку, и лишь языки были придатком; но из тех по крайней мере латинский не был вне связи с главным занятием профессора, потому что уроки риторики и философии, с которыми соединялось преподавание латинского языка, давались на латинском же. Только греческий, еврейский и новейшие оставались вне связи с наукой, которую преподавал профессор; их преподавание возлагалось на наставников истории и математики, и это послужило к упадку языкознания. Но предполагалось, что с языками (за исключением

еврейского и новых) вполне ознакомлены ученики уже до семинарии. И в самом деле, разве четырех лет, и почти даже пяти, исключительно посвященных древним языкам и более ничему, недостаточно для полного их усвоения? В семинарии оставалось бы только объяснять авторов исторически и критически. На деле выходило, однако, что латынью занимались спустя рукава, а изучение греческого языка шло попятно: выходивший из семинарии знал слабее, нежели выходивший из училища. Было бы иное, когда бы главная наука брала у греческого языка постоянный материал и ссылалась бы на него; например, профессор логики — на Аристотеля, а профессор богословия приводил бы тексты на греческом. С еврейским и новыми языками было еще хуже: то были предметы совсем отлетные, и преподаватели их, за ничтожными исключениями, сами были круглые невежды. Профессоров даже греческого языка ученики иногда останавливали и поправляли, а один преподаватель обессмертил себя следующим собственным рассказом. «Зачем ты слушаешь подсказов?» — замечает он экзаменуемому ритору (в качестве профессора он экзаменовал, преподавателем был лектор). «Могут подсказать тебе на смех. Когда я в семинарии учился, было так. Ученик не знал даже, что значит Ёќа. Ему подсказывают: Ёќа — ибо, а я отвечаю: Ёќа — рыба». И «Ёќа — рыба» оказался профессором греческого языка!

После преобразования языки еще ниже упали, задавленные много-предметностью; еврейский же с французским и немецким совсем отставлены, исключенные из числа обязательных предметов. Упали и бывшие второстепенные — история и математика. Оставаясь второстепенными в курсе, они сохраняли прежде главное значение, по крайней мере для самого преподавателя. Теперь же каждому, сверх уроков по языку, пристегнуто было еще по одному или нескольку предметов, равноправных и с историей, и с математикой, и даже важнейших, вроде Священного Писания. К этой каше не только внимание учеников ослабевало, но и рвение преподавателей хладело; они терялись, и если плохо приготовлены сами, что с большинством случалось, то не возникало повелительных интересов и пополнить сведения, так как ни одна из наук не давала ручательства, что останется навсегда связанною с профессией.

Судьба математики была особенно жалкая. Учащиеся ею пренебрегали, учащие были совсем невежды, потому что в самой Академии, откуда исходили преподаватели, никогда не бывало более двух, много трех охотников слушать математические лекции. Начальство, выходившее из тех же учащихся и учащих, разделяло общий взгляд и смотрело на уроки математики, как на

брошенное время. Случайно наш ректор Иосиф (теперь пребывающий на покое архиепископ Воронежский) представлял исключение: он знал математику и в Академии был из нее первым студентом. Он внимательно производил экзамены, усовещивал плохо отвечавших; но против общего течения не мог плыть.

Математика дала мне первый случай к одному наблюдению, которое потом подтверждалось. Не замечал ли на своем веку кто-нибудь из читателей, что бывают книги, по виду глупые, именно по виду, а не по содержанию? Это — то же таинственное, не исследованное отношение, как походная буква у писателя или как связь почерка с характером и наружностью человека. Связь эта несомненна. Покойный Ф.В. Чижов, известный общественный деятель и писатель, обладал даром, в зрелом уже возрасте приобретенным и к концу жизни утраченным, угадывать человека по почерку и почерк по человеку. Некоторые примеры поразительны. Он проживал одно время близ Киева в арендованном у казны имении. Знаком был с киевскими академическими властями и раз, навестив их, застал их за составлением списка студентов. Ректор, инспектор, профессора, вся конференция — люди знакомые.

— А вот, Федор Васильевич, не поможете ли нам? Мы тут ломаем голову: четыре сочинения четырех студентов, и мы не решаемся, кому отдать предпочтение.

Федор Васильевич чувствовал себя, выражусь так, в наитии.

— Извольте, очень рад; дайте тетрадки. Не думайте, я не буду входить в богословские и философские тонкости, и вообще содержания касаться не стану; мне достаточно почерка.

Взял тетради, посмотрел и начал определять у каждого степень дарований, трудолюбия, предрасположение к известным родам умственного труда. Перейдя к четвертому, выразился с состраданием:

— А это — сирота; тяжела ему досталась жизнь.

И начал описывать прошлое студента. Присутствовавшие были поражены, а ректор, набожный архимандрит, перекрестясь, воскликнул:

— Ну, Федор Васильевич, если б я не знал, что вы человек верующий, я бы объяснил ваши отзывы действием злого духа.

В другой раз, посмотрев на почерк, он отозвался, что писал человек, который при входе в комнату несет одно плечо вперед; при этом сделал движение, заставившее хохотать присутствовавших, потому что неизвестный Чижову писавший именно употреблял эту манеру. Приятелю своему, доктору, по почерку невесты определил ее вкусы, назвал любимых ею писателей и даже описал ее наружность. Когда я с ним

познакомился и чрез несколько времени пришлось мне оставить письмо ему в его квартире, он с удивлением сказал, что сначала предполагал мой почерк не таким.

— У вас должны бы быть строки в середине выгнуты, а не так прямы, как в письме.

— Вы заключаете верно, — отвечал я. — Прямизна строк произошла случайно, оттого что я писал записку на подоконнике в швейцарской, стоя. А когда я пишу за столом и сидя, строки у меня действительно выходят с прогибом в середине.

Итак, соотношение существует, хотя закон не исследован. Как в почерке, так и в наружном виде издания отражаются и ум, и характер, и вкусы; почему знать — может быть, даже наружный вид автора и издателя, как белокурые волосы в почерке (их угадывал Чижов). Я наблюл, что есть книги, глупые на вид. К некоторым питаю антипатию, независимо от их содержания. Книгопродавцы, букинисты в особенности, обладают даром угадывать внутреннее достоинство книги по наружности: повертит, посмотрит, перелистует, не читает, как не читал и Чижов студенческих сочинений, — и произнесет приговор, не о внешнем виде книги, а об ее успехе в публике, об ее содержании, в общественное значение которого как-то проникает, не давая себе отчета, чрез наружность книги.

Учебники алгебры и геометрии, употреблявшиеся в семинариях, казались мне глупыми на вид, и я не мог с ними помириться. Возьму, начну читать, углубляться, — нет, противно: и формат будто глупый, и шрифт нескладный, и строки смотрят неуклюже; самое изложение of того ли казалось неудовлетворительным, или действительно было не завлекательно; я бросал книгу. Взялся я за математику, но уже когда увидал «Энциклопедию» Перевощикова. Книжки смотрели умильно, ласково, смышлено, не отталкивало от них, и я охотно за них засел.

Большинство духовно-учебных книг и даже вообще казенных учебников страдают неприглядностью, и причина для меня ясна: души не приложено к изданию; не сам автор издает; не книгопродавец, который смотрит на книгу все-таки как на родное детище и наряжает ее в то, что ей к лицу. Не заинтересованный фактор казенной типографии равнодушно определяет формат и шрифт, и выйдет она из типографии, а потом из переплетной, с бессмысленным, нисколько не интересным видом.

Были у нас профессора, которые служили для всех учеников вечным посмешищем, а один преподавал целый год даже главную науку. Его не уважали, не слушали; когда он рассказывал что-нибудь в классе, казавшееся ему смешным, слушатели хохотали,

но не содержанию рассказа, а усилию рассказчика сказать острое и занимательное, выходившее на деле и тупым, и скучным. Один из учеников, большой лицедей, передразнивал искусно и походку, и речь презираемого профессора, садился за стол, вызывал учеников, делал замечания. Так было похоже, что хохотали до истерики. Об этом несчастном педагоге может дать понятие случай, касавшийся меня. В первое же посещение класса он вызвал меня: Алкита (вместо Никита) Гиляров! Не разобрал, сердечный, и не сообразил. Похвалой этого профессора не дорожили и замечаниями пренебрегали.

Какое зрелище представлял класс, когда шла лекция подобных, нелюбимых наставников! Особенно безобразием отличались в таких случаях послеобеденные классы. Потому ли что утомленное утренними занятиями внимание (хотя, казалось бы, чем же?) требовало отдыха и душа просила распахнуться?

Темно; класс в нижнем этаже со сводами; окна смотрят в близкую стену. Сидят философы и ведут оживленный разговор вполголоса; жужжание идет по классу. Профессор спрашивает ученика, тот отвечает, но за разговором не слышно. Отвечающий возвышает голос, но и вся беседующая аудитория возвышает голос, и так продолжается вперегонки. Или засядут в четырех углах зеваки и начинают со вздохом и потяготами зевать. Зевота распространяется, переходит на самого преподавателя. Никто не в силах удержаться, и даже спрашиваемый, среди самой сдачи урока, разражается зевотой, возбуждая общий смех. Сил нет остановить, и преподаватели мирились со своей судьбой, тем более что были равнодушны к делу; если предмет второстепенный или третьестепенный, то вся обязанность — только просидеть определенный час. Занимаются ученики или нет, за это не ответят ни преподаватель, ни учащиеся; их успехи оцениваются по другим основаниям.

Но были и по второстепенным кафедрам наставники, пользовавшиеся пристальным вниманием: муху слышно в классе. Так поступил к нам в то же Среднее отделение на герменевтику профессор Нектаров, переведенный из Одессы. Герменевтика сама наука неважная, состоит из общих мест; но преподаванием ее, а вместе толкованием пророчеств и учительских книг Ветхого Завета, которое соединено было с герменевтикой, профессор так завлек слушателей, что у некоторых возбудилось горячее желание выучиться еврейскому языку, впрочем, скоро и охладевшее, потому что недолго самим профессором пользовались. Впоследствии он принял монашество, был инспектором и ректором Вифанской семинарии и в этом звании скончался.

Были и такие, которых хотя и не слушали, но уважали за ум и

познания; разговоров при них не происходило; не слушали же потому, что те сами не говорили, лишенные дара импровизации. Таков был М.С. Холмогоров, бывший потом ординарным профессором философии в Казанской академии: он читал то гражданскую историю, то психологию, и мучительно было смотреть на него, когда он пытался объяснять прошлые уроки или знакомить с тем, что предстоит пройти далее: он то чесал в голове, то цыкал, приискивая слова, запинался, повторял одно и то же выражение, топчась на месте.

Некоторыми же профессорами гордились ученики и по окончании курса признавались, что им одним обязаны всем своим развитием. Таковыми считались А.М. Ефимовский, главный профессор в Риторике, и Е.М. Алексинский — в Философии, оба скончались священниками в Москве. Не удалось мне пользоваться уроками ни того ни другого (у Алексинского учился, но не философии, а еврейскому языку). Раза три, четыре, впрочем, когда я был в Низшем отделении, являлся в наш класс на урок латинского языка Ефимовский. Тут и я оценил его, между прочим, за один из его приемов. Не помню, какую книгу мы переводили, но все классное время употреблено было на перевод всего каких-нибудь десяти строк, не более; только как? Переведи, а потом ту же мысль вырази другими словами, но с сохранением оттенков подлинника. Затем передай латинский текст латинским же парафразом, употребив другие слова, другой грамматический или риторический оборот, с переменой падежей и времен, с обращением прямой речи в косвенную, положительной в вопросительную и обратно. Может быть, такого приема и не постоянно держался профессор; может быть, со своими коренными учениками и не употреблял его. Но я тогда же понял, что из такой бани, после десяти переведенных строк, выйдешь лучшим филологом, нежели переведя целую книгу.

Оглядываясь снова, чем же я помяну семинарию? В Низшем отделении я стоял выше своего класса, и потому уроки профессора прошли мимо меня; я слышал повторение уже известного мне. В Среднем отделении блеснули три или четыре начальные лекции талантливого профессора А.С. Невского, который в кратком, обстоятельном очерке изложил нам введение в философию. Однако он тут же оставил службу, и мы перешли на руки бездарному и презираемому «Алките», а на второй год — к чесавшемуся и цыкавшему Холмогорову. О Богословском классе скажу особо. Итак, семинария дала только посредственные учебники, большею частию рукописные. Большинства их я не списывал; некоторые, например Алкиты, которого называли также почему-то «Валуем» и «Вахлюхтером», хромали даже

грамотностью. Умозаключение, например, определялось, помнится, так: «умозаключение есть такая форма мышления, в котором так как одно суждение полагается, то» и проч. Но учебник вообще имеет значение только при учителе; он должен быть справочного книгой только; без живого слова, чтС же он для развития и для образования вообще? К чему тогда и школа? Учебники составлял я и сам, и особенно в Среднем отделении переделывал, частию сокращал, частию дополнял. Так я составил Библейскую историю, Русскую гражданскую историю, Логику и Психологию. В Богословском классе подобным же образом обрабатывал Русскую церковную историю. Но эта работа была самоучением, к которому семинария призывала только тем, что сама учения не давала по безалаберности программы и недостатку учителей.

Не имею понятия, как учили и учат в гимназиях, кадетских корпусах, институтах и проч. Но мне предносится тип преподавания, может быть, и нигде не существующий, но единственный заслуживающий одобрения: урок должен быть так преподан, чтобы по выходе из аудитории не наступало надобности заглядывать в книгу. Богословское преподавание ректора Иосифа, которого я слушал полгода в Высшем классе, было таково. Оно было не без недостатков, но за ним было то неоценимое достоинство, что между слушавшими его не было ни первых, ни последних по успехам; все знали преподанное одинаково твердо, первые и последние, и узнавали не после, а именно в момент преподавания. Правда, так преподавать требует подвига. Но без того, что же преподаватель? Заслуживает ли своего наименования учитель, ограничивающий педагогическую деятельность свою механизмом выслушивания уроков и счета баллов?

Глава XXXVIII
ПУТЕШЕСТВИЯ

Семинарский курс мой правильнее было бы назвать семинарским моционом, потому что, в первые по крайней мере четыре года, столько же времени употреблялось ежедневно на ходьбу, сколько на пребывание в классе. Менее трех часов в день для класса; но от Девичьего до Никольской ходьбы час с хвостиком, оттуда столько же; затем обеденное время, проводимое большею частию в ходьбе же. Я так привык к пешехождению, что раз, например, проводил товарища от Семинарии до Спасаво-Спасской за Сухаревой башней и оттуда, не передохнув, поворотил под Девичий. Это было для меня — «завернуть по дороге». Однообразие пути надоедало, и я выбирал намеренно длинную дорогу: то пойду по Воздвиженке на Арбат и оттуда выйду на Девичье поле через Плющиху или чрез Саввинский переулок; то от Пречистенских ворот направлюсь по Остоженке и чрез Хамовники доберусь до Девичьего задами. Было, что я выбрал путь чрез Якиманку, дошел до Нескучного сада, погулял там, спустился, на лодке переплыл Москву-реку и огородами пробрался домой. Помню, эта прогулка совершена в четверг или в понедельник, когда не было послеобеденных классов.

А и надоедало это однообразие! Вечно одною и тою же дорогой, одним и тем же полем, где ничто не развлекает, тою же правою стороной Пречистенки, где каждый дом давно известен, где, проходя мимо дома Всеволожских, неизменно чувствуешь подвальный холод из нижних окон (с 1812 года дом стоял неотстроенным); выше, за Пречистенскими воротами, на так называемой теперь Волхонке, несколько останавливали внимание работы по сооружению Храма Христа Спасителя. Он вырос на моих глазах. На моих глазах ломали Алексеевский монастырь; на моих глазах рыли и выкладывали фундамент. Какая глубокая яма! Люди внизу представляются карликами. И как красиво бутят! По залитому известкою слою танцовать можно. Я был зрителем торжества закладки; конечно, лицезрел Вильгельма, теперешнего императора германского, то есть я их всех видел, но не умел назвать никого, кроме государя Николая Павловича и Паскевича. Далее еще отдыхал несколько глаз на Александровском саде, который, однако, наводил, напротив, тоску в зимнее время противоположностью: усыпанная песком дорожка и кругом — снег! Поднимаюсь к Иверской; неизменная

картина молящихся; пробираюсь мимо Казанского собора чрез его ограду, с неизменною картиной крестящихся пешеходов.

А Храм Спасителя все строится, все выкладывается. С самых малых лет меня занимала его история. Я печалился об участи Витберговского проекта; мечты мои разгуливались, представляя на месте ежедневно видимых гор с церковушкой наверху — величественную террасу с величественнейшим храмом, с величественным мостом через реку. Душа отдохнула по прочтении в «Московских ведомостях», что разрешено новое сооружение; но я жалел, что место выбрано не на Вшивой горке; разочаровался видом нового храма, изображенным, кажется, в «Живописном обозрении». Забоялся, прочитав штат Комиссии о построении. Ну, думаю, да кто же пойдет на эти скоро преходящие должности? Постройку предположено кончить в шесть лет. Куда денутся бедные служащие потом? Следовало бы в расписании штата успокоить их, что после даны будут места; а иначе найдутся ли охотники? Детская простота!

Почему, однако, правою стороной Пречистенки, а не левою, правою всегда? Несмотря на околесицы, которые совершаю в избежание однообразия, никогда не приходит охота переменить маршрут в том смысле, чтоб идти левою стороной, а не правою. Три уже года я ходил так и в первый раз обратил внимание на это обстоятельство, когда узнал из физики о косности. Это косность, подумал я, не хочу, и пошел по левой стороне. Но привычка взяла свое; когда намеренно не назначал себе идти налево, ноги продолжали сами собою идти направо.

Однообразие, сказал я, — ничто не развлекает, пусто на поле. Нет, не однообразно, не пусто. Летом пасется стадо, а во вдающемся четвероугольнике поля летом же зришь солдатское ученье.

— Ра-а-а-а-з.

— Два-а-а-а-а (ниже тоном).

— Три!

Вытягивает ногу солдатик и держит ее на весу долго, долго, пока тянется «два-а-а» и не кончится быстрым «три!». А вот инструктор бьет солдата по лицу, бьет в брюхо: и тот стоит как кукла, неподвижно. Нет, пойду, нечего смотреть.

Осень на дворе глубокая, глубокая, ноябрь должно быть; снега нет, а лед есть на поле. И слякоть, и холод. Как-то особенно посвистывает музыка на обычном месте ученья. Два строя стоят с длинными, тонкими, зеленоватого цвета палками; пуки таких же палок около. Офицеры медленно расхаживают. А внутри ведут солдата без рубашки, в нижнем платье одном. Холодно ему? Нет, не холодно, горячо, очень горячо. Спина у него цвета

выспевающих бобов, красного, переходящего в черный. Идет он медленно, вскидывает головой то сюда, то туда, со страдальческим видом. Взмахивают солдаты палками, бьют, летят наземь верхние обломки палок и берутся новые палки. А музыка все посвистывает, свистят в воздухе потрясаемые палки, и офицеры все двигаются около. Нет, мимо, плохое разнообразие; раз видел, больше не буду.

А вот и зима. Крутит снег, вертит ветер. Ни души в седьмом часу утра. Режет лицо. Повернешься на секунду спиной к ветру, передохнешь и опять в путь; далеко еще. Стучит в глаза эта мелкая крупа, полы легко стеганой чуйки распахиваются. Руки коченеют, они голые, а рукава коротеньки. Иди, иди, в Зубово придешь, будет легче.

Нет, за ночь выпал снег, глубокий снег. Глаза режет однообразная белизна; дороги нет, нет совсем. Видны по местам глубокие отверстия, следы шагов. Кто же прошел? Должно быть, кто-нибудь к Крючку в кабак ходил погреться. Но иди. Снег по колена; ничего. Снег заваливается в сапоги; неважность, бывает хуже. Только тяжело идти, вот что нехорошо. Вытянуть две версты по такой дороге! Отдыхает душа в Зубове; здесь начинают кое-где даже мести тротуары.

А нет хуже весной, раннею весной. Бежит вода ручьями; дорога частию стаяла, по местам остались только ледяные рельсы; но скверно особенно около Олсуфьевского дома. В других местах вода по лодыжки, а здесь почти до колена. В сапогах вода. Нижнее платье в воде и прилипло к телу. Иди, иди, к вечеру обсохнешь. И приходишь в Семинарию бодрый, шутишь, смеешься.

Если приходится топтать грязь, это и совсем ничего. Правда, калош я не знаю, еще два, три года пройдет, прежде чем я с ними познакомлюсь. Но месить грязь или переходить воду? Первое предпочтительнее.

Как я не получил ревматизма? Не получил; но когда я бываю теперь в бане и распариваюсь, в ногах я чувствую не то что зуд, выражение слабо, но сгораю желанием, чтобы мне ноги скребли, драли, хотя бы до крови. Догадываюсь, что то следы путешествий по Девичьему полю.

Раза два было, что я даже пугался. Лютый мороз, и я закоченел весь, весь в полном смысле слова. Я едва передвигал ноги, и начиналась дремота. Я понимал, что это значит. Но все мужество собрал и дошел до Зубова; а оттуда почти добежал до Семинарии и согрелся на дороге.

Другой раз обмерзли уши и щека. Свирепо слишком дул ветер. Ноги я также едва передвигал по полю. Неприятно было

ходить потом с висячими огромными ушами; боялся, что они отвалятся, так они были велики и тяжелы.

Случай замерзнуть предстоял мне и еще раз, но не на Девичьем поле; то было на людях. Отправляюсь на Святки в Коломну, нанимаю ямщика, беру место в кибитке. Садятся пассажиры, и ямщик упрашивает меня сесть на передок, пока вот одного довезет только до Карачарова; «там седок слезет, а вы уже на его место там сядете». Не сообразил я обмана, сел на передок. Но проехали Карачарово, пассажир, купец или крестьянин — дядя, словом, вылезать не думает. Обращаюсь к ямщику.

— Что ж, доедем, уж не обижайтесь, барин.

Однако мороз лютый, невыносимый; жестоко холодно сначала, но начинается дремота. Ямщик меня толкает, будит, останавливает лошадей; смотрю — кабак. Ямщик предлагает пойти выпить. Это угощением заглаживает свой обман!

— Я не пью.

— Да ну, пивца выкушайте.

Я зашел в кабак не для того, чтобы выпить, а чтобы хоть секунду побыть в тепле, и затем почти до самой станции все больше бежал наравне с лошадьми, держась за зад кибитки. Знаменитые скороходы тогда не победили бы меня в состязании бега. Только им платят за бег, а я сам заплатил за неудовольствие мчаться с лошадьми рысью вместо покойного сиденья в кибитке, окутавшись сеном.

Но не одно Девичье поле с Пречистенкой, — мне приходилось искрещивать всю Москву, и именно летом, и особенно в первые два года, проведенные почти в одиночестве, без приятелей и знакомых. Куда девать обеденные часы? Отправлялся бродить по улицам и переулкам; на Кузнецком Мосту созерцал выставленные эстампы, в Китайском проходе книги у букинистов, а то просто глазел на вывески по Тверской, Кузнецкому Мосту и окрестностям. Меня занимали вывески иностранные, и я про себя восстанавливал значение слов, мне неизвестных. Таким путем я узнал, еще не учась по-немецки, что Schneider значит портной, Drechsler — токарь. Попадавшаяся неоднократно вывеска «Chambres grannies a louer» [6] затрудняла меня, хотя я учился уже по-французски. Я не мог постигнуть также, что значит гастрономический магазин, хотя знал, что значит гастрономия. Вывесок сравнительно с теперешними было, конечно, очень мало. Так называемые дворянские улицы были действительно дворянскими; даже Тверская мало уклонялась от этого типа, не говоря о Пречистенке, которая до сих пор его почти сохранила. В самом низу Тверской, где дома сплошь покрыты вывесками, тогда стоял налево Дворянский институт (дом

Шаблыкина); дом Логинова, теперь Голяшкина, бывший Демидова, глядел еще тоже барским домом. Направо несколько неотстроенных, заколоченных домов Бекетова; выше дом Самарина; далее, за Саввинским подворьем, теперешний Олсуфьева, венецианской архитектуры, был хотя под гостиницей, кажется, но тоже не залеплен был вывесками. Андреевского дома не было еще. Не существовало многого даже ближе к центру. На Театральной площади не было Челышевского дома; дом Патрикеева против него только строился, и я хаживал смотреть на каменные работы. Дом Торлецкого на Моховой, против Экзерциргауза, также новое произведение, а тем более дом Скворцова; этот принадлежит уже царствованию Александра II и современен сломке старого Каменного моста, массивного, аляповатого. Припоминаю изречение извозчика по этому поводу. «Спасибо царю», — сказал он, указывая на разрушение, которому не без труда поддавалось древнее, циклопическое сооружение.

— А что такое? — спросил я.

— Да вот дал народу покормиться, и господам, и купцам. Смотри-ка, что хлыст на Моховой затевает. Всем есть надо.

Сказано было не ироническим тоном, а искренне. Царю-де жалко стало, так представлялось в его уме: каменщики без работы, подрядчики без дел, чиновники без взяток. Что бы такое сделать, чтоб их покормить?

Много ли Москва вообще переменилась против тогдашнего? Не очень. Вывесок прибавилось, барские хоромы превратились в торговые, частию в учебные и благотворительные заведения, колонны отбиты кое-где, ворота закладены и заменены подъездными; поделаны вообще подъезды с улицы, что было на редкость; прямо ход с улицы бывал только в магазины и лавки. Но и магазинов почти не было, то есть торговли в теплых помещениях. Да еще Москва приподнялась на этаж; но эта прибавка роста началась уже в очень позднее время, примерно с 1871 года, когда один за другим начали воздвигаться новые дома, а старые надстраиваться; толчок дало учреждение Кредитного общества; а до того времени Москва была по преимуществу двухэтажная. Трехэтажные дома были наперечет. Довольно того, что дом Шипова на Лубянке считался самым большим зданием в Москве после разных казенных.

Более перемен последовало в нравственной физиономии города, и одна из них особенно замечательна, хотя повторилась, вероятно, в других городах и во всей России: в сороковых годах не было женщин на улицах. Кухарка или швея, лавочница и горничная, не считая приезжих крестьянок: вот единственный женский персонал, дерзавший показываться на улице, тем более

на бульваре, без провожатых. С удивлением русский человек читал об английских, в особенности американских, нравах, где леди совершают даже путешествия в одиночку. Такая вольность казалась почти невероятною, и для России никогда невозможною. Железные дороги и женские гимназии, в дополнение к упразднению крепостного права, совершили казавшееся невероятным, и теперь никого не удивляет появление дам и девиц, отнюдь не принадлежавших к «этим дамам», на улицах и бульварах. Женщины появляются теперь даже в ресторанах и трактирах, здесь пока еще в сопровождении, но дайте срок: по прошлому судя, свободу и тут завоюет женский пол.

В Коломне Е.И. Мещанинова еще разъезжала на четверне, но в Москве, к сороковым годам, обычай езды цугом начал исчезать, хотя лежачих рессор еще не появлялось и крепостное право было в полной силе. Три помянутые обстоятельства между собой связаны. Помимо юридических привилегий езда цугом условливалась: 1) лишним количеством прислуги, 2) отсутствием удобных дорог, 3) тяжестью экипажей. Карету-дом на высоких рессорах с трудом тащила пара лошадей даже по исправной мостовой, а при ухабах и рытвинах лишняя сила и тем более необходима. Лошадей держать ничего не стоит, людей некуда девать, и вот разъезжают тяжелые экипажи четверней с двумя лакеями на запятках и с форейтором на первой паре. В прежние времена, которых я не застал, скакали еще вершники впереди, опять не столько ради важности, а ввиду невозможных мостовых. Старик-извозчик повествовал мне, что на теперешней Большой Садовой мостовая в начале столетия была деревянная и весной иногда бревна торчали почти стоиком; при такой дороге без передового вершника, понятно, пускаться в путь бывало не безопасно. Привилегия дозволяла превосходительным ездить и на шестерне, но кроме митрополита и женихов с невестами никто же этим не пользовался. Отмена шестерни была показателем улучшения путей, как и отсутствие особых лакеев на боковых подножках: последнее условливалось грязью, через которую приходилось переносить господ на руках. Но есть уже какие-никакие мостовые; опасность утонуть в грязи по выходе из кареты миновалась, и миновалась надобность в боковых лакеях и в лишней паре лошадей.

Вместо стоящих на запятках начали сперва появляться сидящие; экипажи стали делаться с лакейским местом, и нововведение производило на первое время соблазн. Прохожие останавливались и, разговаривая между собою, покачивали головой на баловство. Но баловство пошло потом далее; задние места отменены; лакеям предоставили место на передке рядом с

кучером, как и теперь продолжается. Что сказал бы человек двадцатых, десятых годов, видя эту «республику»? В присутствии господ лакей не только сидит, но сидит к ним задом!

Однако и лишними людьми начинали уже тяготиться, и в особенности крепостными. Плод назрел и не мог держаться на ветке. Чем выше, чем богаче барин, тем реже встретишь собственного человека у него в услужении; напротив, князю Гагарину прислуживает крепостной князя Голицына, Голицыну же — крепостной Гагарина; тот и другой отпущенные на оброк: оба на той же должности камердинера, швейцара, кучера, но за жалованье. Своя крепостная прислуга становилась в тягость и обращалась в источник неприятностей, а мостовые исправились, и вот долой форейторов и переднюю пару лошадей; экономия и даже лишний доход от отпущенного в люди Ваньки, бывшего форейтора; своего камердинера тоже пустить на оброк, а на его место гагаринского Гаврилу; его исправность рекомендуют.

Молодое и среднее поколение не может представить себе путей сообщения тому назад сорок, пятьдесят лет, когда кругом Москвы не было не только железных дорог, но даже шоссе. В Талицах по Троицкой дороге мужики кормились тем, что вытаскивали из грязи завязшие экипажи. Это был их главный доход. В сороковых годах, когда я жил уже у Троицы, не редкость бывало видеть кареты на дороге, брошенные до зимы. Застряла, и сил всего селения не хватает вытащить. Оставляют до морозов; обмерзнет глина, и экипаж вырубят. Шоссе избавило от этой напасти, а с тем появились и лежачие рессоры. В первый раз удалось мне видеть экипаж с низкими рессорами на Воскресенской площади. Длинный ряд карет тянулся от Присутственных мест до Театральной площади. Дворянское ли собрание было или что другое, но экипаж низкорессорный был единственный. Мог бы я упомянутым выше приемом исторического критика определить год, когда совершено это наблюдение, и даже месяц приблизительно. Но стоит ли?

Извозчики были по преимуществу калиберные. Пролеток сначала не было совсем; затем появились по одной, по две на бирже, и за пролетку брали извозчики приблизительно в полтора раза против калибера; калибер — пятиалтынный, пролетка — четвертак. Название калибра — полицейское. Который-то из полицеймейстеров (не Шульгин ли?) обязал извозчиков иметь дрожки по образцовому калибру, и притом рессорные. Отсюда дрожки на железных рессорах без места для кучера получили название «калибра», а название дрожек осталось для дрожек с высокими, стальными рессорами и с особым сидением для кучера. До введения пролеток стаивали на бирже и дрожки в

тесном смысле. А до калибров употреблялись те же дрожки, но без рессор, зато более просторные. Теперь окрещены они названием линеек, в других же местах называют их иногда долгушами. Были ли крытые линейки-дрожки у извозчиков, и у всех ли были фартуки, предание об этом до меня не дошло, но на моих глазах совершалось постоянное умаление калибра. Было время, когда на калибре можно было усесться четверым, не считая извозчика, по два седока на каждую сторону. Затем осталось место только на двоих; наконец до того дошло, что одному с трудом усесться. Все почти пространство занимал сам извозчик, оставляя нанимателю едва-едва сиденье, во всяком случае меньше, нежели занимал сам. Помимо всего, это послужило к гибели калибров, которые могли бы соперничать с пролетками хотя простором. Процесс постепенного умаления, сгубивший калибры, повторяется теперь с пролетками. Двоим на пролетке сидеть прежде бывало совершенно просторно; теперь они обратились из двуместных в полуторные экипажи, и притом иногда настолько короткие, что сколько-нибудь сносного роста человеку некуда девать ноги.

Одним из любимых послеобеденных посещений в летнее время был для меня Александровский сад, а постоянным пристанищем — грот. Прекрасное было место частию для размышления, иногда для наблюдения! В то же время прихаживали сюда разные лица неизвестного звания, похожие преимущественно на приказчиков без места. Завязывались иногда разговоры, и я вслушивался, составляя себе понятие об интересах, занимающих этот люд. Случались даже ученые прения, точнее сказать — ученые рефераты. Их излагал некто Эльманов, уверенный, что не Земля вокруг Солнца, а Солнце вертится. Он убежден был в своей ереси фанатически, жил ею и на последние гроши (он был бедный мещанин) издал даже брошюру, очень безграмотную, надо отдать справедливость. Человек бывалый, ездил даже на Новую Землю, где «солнце», по его выражению, «кругом катается». Разубедить его не было сил; он приводил вычисления и опыты, существа которых не помню; уличал Коперникову систему в каких-то якобы несообразностях; он пролезал даже к высочайшим особам, все со своею идеей о неподвижности Земли. Галилей своего рода, только в обратную сторону. Мне было его жалко, а прочие посетители грота слушали его с любопытством и уважением. Мне приятнее было наводить его на рассказы о его странствиях, на описания глубокого Севера, на рыболовство и звероловство, с которыми он был знаком.

Любил я посещать еще Толкучку, смотреть на «царскую кухню», где за грош можно пообедать на открытом воздухе;

любопытствовал о покупках и продажах старья и краденого, всматривался в лица многочисленных торговых дельцов, живущих исключительно обманом. Их притон здесь, и орудуют они в лавках и на открытом воздухе. Личные наблюдения свои проверял я и дополнял рассказами двоюродного брата, дьячка от Николы Большого Креста.

По зимам, и притом начиная со второго года, совершалось в послеобеденные часы посещение трактиров, которое мало-помалу стало регулярным. Денег у меня не бывало, но я брал дань натурой с товарищей, которым помогал пером. Оказалась эта профессия наследственною. Брат Александр также еще с Риторического класса давал пользоваться своим пером: писал товарищам сочинения, писал сочинения университетским студентам; после, уже на месте, писал проповеди для желающих и обязанных проповедовать, но не владеющих свободно пером. Пока он был дьяконом, некоторые из его товарищей и знакомых прошли даже на священнические места, зарекомендовав себя в глазах митрополита, между прочим, чужими проповедями, то есть братниными. Моя помощь сначала оказывалась даром. Задан экспромпт. Я подал. Сосед просит оказать ему услугу — написать. По его примеру, пяток других обращается с тою же просьбой. Потом пошли угощения в благодарность. Наконец, поступило ко мне предложение чрез третье лицо писать уже не экспромты, а домашние сочинения для неизвестного, учащегося в другом отделении. Написал я раз и два, меня угостили; затем это вошло в правило, и притом услугами моими пользовалось несколько неизвестных, все чрез того же агента, Николая Лаврова, товарища по Риторике, но учившегося в другом отделении. Установилась своего рода такса на сочинения, в результате чего оказывалась иногда у меня даже мелочь в распоряжении, а в трактир приглашаем был ежедневно. Последнее было уже как бы оброком: шли вдвоем, иногда втроем, в сопровождении того самого, кто был, как я предполагал, главным моим, но неизвестным мне клиентом. Однако я вида не показывал, что догадываюсь или подозреваю. Деньги за угощение платил или он, или Лавров.

Угощение, впрочем, было не Бог весть какое: чай, «три или четыре пары», смотря по тому, двое нас или трое; хлеб к чаю; иногда расстегай. А блины в трактире Воронина — то была роскошь, которая разрешалась лишь в чрезвычайных случаях. Больше всего ограничивались чаем, и трактир посещаем был по преимуществу находившийся на Моисеевской площади, где теперь в доме Корзинкина помещается Новый Московский трактир. Мы облюбовали его потому, что в нем получались журналы, и в чтении главным образом проходило наше время;

чай спрашивался как повод спросить журналы. Захлебывая чаем, я читал и курил трубку (это и было началом моего куренья); собеседники мои делали то же. Для меня это был главный способ следить за литературой и за политикой. Много ли вынесли мои собеседники из своих чтений? Но мне трактир Дементия (так мы его называли) служил существенным дополнением воспитания, давая вовремя следить за течением жизни. Брат получал от Н.Ф. Островского и от одной монахини (Е.Х. Оппель) журналы, но старые, чрез месяц, чрез два. Это была уже история, а современность почерпалась в трактирах. Помимо Дементия служили тому же отчасти Большой Московский, Патрикеев и, наконец, «Великобритания», студенческий трактир против Экзерциргауза и Александровского сада. Не здесь, то там, но современную журналистику и все выходившие газеты, за исключением специальных, какова «Земледельческая», прочитывал я по мере выхода их от начала до конца.

Глава XXXIX
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ

В путешествиях из необходимости, в классах для развлечения, в трактирах по любознательности проходила жизнь моя вне дома. А дома чтение отчасти, главное же письменная работа поглощали все остававшееся время, если не считать коротких бесед с братом и посещения церкви по праздникам и накануне. Масса писанного мною в течение первых двух лет изумительна для меня самого. Если измерять внешним объемом, то наберется не одна стопа писчей бумаги, переписанной начисто, чему предшествовали черняки. Я писал сочинения на заданные темы и на свои. Из них не одна сотня поданы в классе, большинство мною, часть моими клиентами, на которых я работал. Но добрая половина оставалась при мне, и никто о ней даже не догадывался. Нахожу перевод целой книги (латинской) гомилетического содержания, историческую повесть, дневники, которые неоднократно начинал и чрез несколько дней бросал, критические отзывы о прочитанных книгах. Я одержим был какою-то графоманией. За недостатком чистой бумаги писал на метрических графленых листах, должно быть отмененного образца и потому остававшихся у отца без употребления, писал даже на бумаге исписанной, братниных черняках, лавочных счетах, случайно попадавшихся; переворачивал лист или четвертку боком и писал поперек строк. Сохранилась часть черняков; они состоят из полуслов, из первых букв и трудно восстановимы; рука, очевидно, не успевала записывать. Но эта лихорадка в передаче мыслей на бумагу била меня только два года. С Философского класса наступил период рефлексии: ум обратился на себя, перецеживал по нескольку раз каждое понятие, возникавшее в нем, подвергал мелочному разбору каждое выражение для каждого понятия и их взаимную связь. Прежде чем выкладывать на бумагу, я вынашивал. Каждое сочинение, как бы обширно ни было (например, в Академии), прочитывал я предварительно себе в уме от слова до слова. Черняков, вроде сохранившихся от Риторического класса, не могло быть. В Риторическом классе, напротив, бежала мысль, и я ее не останавливал, спеша уловить и хотя кратким знаком закрепить на бумаге.

Мысль! Да это не мысли были, а представления и картины. В общих чертах помню характеристику в классе, произнесенную профессором словесности пред окончанием курса. Он сравнивал

первых двух учеников своих, меня и Сперанского, и, отдавая мне честь за живость, бойкость, красноречие, находил в моем товарище спокойную рассудительность, которою он меня превосходил. Отзыв был более глубок, нежели, может быть, воображал почтенный, доселе здравствующий наш профессор. Пробегая в теперешнее время свои опыты четырнадцати и пятнадцати лет, я вижу в этом мальчике готового хлесткого фельетониста или будущего беллетриста. Я пишу «Беспечный семинарист», характеристику своих товарищей; описываю вымышленный «Погост Гороховец» с картиной сельской жизни. Недурно и даже изящно, с сильным оттенком иронии; в последнем узнаю следы «Библиотеки для чтения». Эпизоды из русской истории, вымышленные речи исторических героев, описание своего отъезда в Москву, историческая повесть; бойко, живо, есть воображение, есть соль, не говоря о правильности языка; слово слушается. Но разборы речей Цицерона, рассуждения на отвлеченные темы — мысль слабая, понятия готовые, самая речь становится вязкою, теряет свободу. Если бы с риторической скамьи мне перескочить прямо в печать, я оказался бы не хуже многих других борзописцев. Но потому-то невысоко я ценю хлестких борзописцев, даже пользующихся известностью; я читаю в них близко знакомого мне ученика Риторики в Московской семинарии; ясен мне процесс, как заносятся к ним в голову слова, принимаемые ими за понятия, как усвоиваются без мысли готовые положения, заслушанные и вычитанные ими и в механической перестановке предлагаемые публике под видом надуманных суждений. Оттого у нас в печати и преобладание пошлости; оттого удивительно скоро и изнашиваются все теоретические положения, выдаваемые и принимаемые первоначально за открытия; изнашиваются самые слова.

Предводитель должен произнести речь при открытии земского собрания. Ротмистру или майору старого воспитания словесность не далась. Когда же? Хозяйство! Литературная деятельность ограничивалась письмами к родным и знакомым. Ему подают проект сочиненной для него речи, которую он должен заучить до произнесения. Прочитал, и облаком грусти омрачилось чело.

«Хорошо… Но знаете ли, недостаточно современно. Нельзя ли тут как-нибудь упомянуть об „инициативе“ и „благодетельной гласности“? Пожалуйста. Кстати, что такое инициатива?»

Подлинный факт шестидесятых годов. А предводитель был даже неглупый человек.

Первоначальный мой руководитель, брат, не стеснял моей литературной бойкости, во-первых, потому, что находился под

влиянием «Библиотеки для чтения», во-вторых, сам, подобно бесчисленному большинству семинаристов, ценил только, как написано, а не что написано. В собственных проповедях его обиход мысли был скуден. Но мне с приближением Философского класса пришлось подумать о приготовлении себя к новой науке, и прежде всего — к логике. На счастье мое или на несчастье — как это определить теперь? — учебником философии для семинарии назначен был Баумейстер. Пусть по нем уже не преподавали; но книга была у брата, и брат с увлечением рассказывал о методе Баумейстера, а равно о методе архимандрита Макария, бывшего в прошлом столетии ректором, если не ошибаюсь, Тверской семинарии и напечатавшего свое «Богословие». Это произведение в свое время было редкостью, во-первых, потому, что изложено было на русском языке, и, во-вторых, по методу изложения, одинаковому с Баумейстеровым. Баумейстер был вольфианец, и изложение у него демонстративное, ни дать ни взять как в геометрии; ряд сцепленных силлогизмов, в основании которых лежат твердо определенные понятия. Тем же порядком изложено и «Богословие» Макария, как ни странно приложение демонстративного метода к науке, основанной на Откровенном учении. Но и немецкая литература представляла опыты в этом роде. При господстве Лейбнице-Вольфианской системы, пред Кантом, даже проповеди и библейские объяснения излагались наподобие геометрии. Тема проповеди — Нагорная беседа Спасителя. Предпослав текст: «Видя много народа, Иисус взошел на гору», проповедник начинает: «Гора есть возвышение…» и пр. Так требовала тогдашняя наука.

Прочитал я Макария, взял Баумейстера, начал вчитываться и увлекся. «Логический закон достаточного основания» налег на меня тяжестью. Когда в училище и Риторике я стряпал переводы, меня озабочивала точность, верно ли передана мысль. В риторических самостоятельных упражнениях болел о выразительности, прозрачности, о живости изложения. Теперь поднялось требование последовательности и определенности и обратилось в источник мучений. Да, истинных мучений, напряжений, которые близки к тому, чтоб «ум за разум заходил». Хемницер посмеялся над Метафизиком, но пытанье, подобно описанному в басне, заслуживает сострадания, когда оно есть не праздная потеха от безделья, а искание истины.

Веревка вещь какая?

Как близко к сердцу отозвался мне этот вопрос, когда я прочитал его в Хемницере (а прочитал, уже тронутый подобною болезнью)!

«Чем различаются между собою понятия и суждения?» —

«Какое относительное значение четырех фигур силлогизма?» Вот для примера две темы, которые в числе прочих были нам даны по классу логики. Когда я отвечал на первую, во мне еще не испарилась риторическая бойкость. Но вторая замучила. Веревка вещь какая? Что такое «значение»? Что такое «относительное»? Надобно определить оба понятия, чтобы раскрывать их. И я строил определения по всем требованиям формальной логики. Но в добытых определениях — новые понятия, которые требовали тоже определения. И я шел далее, пытался определить и их; а там новые понятия, и голова закружилась, ум изнемогал. Если бы кто-нибудь был возле меня, искусившийся в мысли, тот без особенного труда поставил бы меня на ноги, объяснив тщету погони за безусловною определенностью и указав призрачность самого метода, допускающего лишь относительное применение; разбил бы и Баумейстера, и Макария, доказав, что тем же методом можно пройти и к противоположным заключениям; и убедить меня было тем легче, что я сам чуял бесплодную формальность своих напряжений; только при скудости историко-философских познаний не умел найти выхода из круга, в который себя заключил. Но не было около меня человека с достаточною эрудицией и достаточною опытностью мысли, и даже после никогда не нашлось. Даже в Академии, когда, принимаясь за диссертацию на тему: «Отчего трудно наблюдать над собою», — я отнесся к профессору с объяснением, между прочим, что я отличаю самонаблюдение от самопознания и самосознания, потому ограничиваю исследование самым процессом наблюдения, профессор добродушно мне заметил: «Наблюдать, познавать — все равно; чем тут затрудняться?» Для добродушного философа, стало быть, требования строгой определенности от психологических понятий никогда и не возникало. Он даже не понял меня.

Требовательность к себе развилась до болезни; «определенность» и «последовательность» отравили талант. Как прежде был я плодовит, так теперь себя сократил; как живо прежде было изложение, так сухо и отвлеченно теперь. Я спотыкался на каждом понятии, задумывался над каждым словом и не видел конца, где остановиться. Метод требовал аксиомы во главе, положения несомненно удостоверенного. Но мне дают частный вопрос из логики или психологии. Приходилось предположить что-нибудь за несомненное, заимствовать на веру ближайшее частное положение учебника, служащее основанием к данной теме. «Но на чем основано само это положение? — спрашивал я. — Не должно ли оно быть само прежде выведено? И где же начало?» Напряжение доходило до того, что я бросал

думать; но и это не всегда удавалось. Построения и попытки к построениям совершались мимо моей воли. Происходила двойная жизнь; я разговариваю с кем-нибудь о сегодняшнем морозе, о вчерашней выходке Богоявленского, который по близорукости приставил лицо к самой доске и написал так мелко «a + b» и пр., что профессор попросил стереть и написать виднее. Стер; на полшага отойдя от доски, размахнулся всею рукой, на смех написал во всю доску «a +» и обратился к профессору с совершенно серьезным видом: «Доски не хватает». Слушаю разговор, участвую в нем, смеюсь, а в голове, как та непослушная дудка в органе, о которой говорит Гоголь, продолжается само собою: «А равно а, золото есть золото; чем отличается закон тождества от закона противоречия, и если отличается, почему закон противоречия не есть вывод из закона тождества? И нет ли высшего закона, из которого оба вытекают?»

Сочинения мои были уродливы; прочитывая их чрез долгое время, я их называл сам себе «головастиками»: большая голова и без туловища, один хвост. В длинном введении устанавливались предварительные общие понятия; начиналось издалека, а самое положение, о котором следовало рассуждать, изъяснялось на нескольких строках. Сочинения, писанные для клиентов, вероятно, были удовлетворительнее собственных, обстоятельнее и яснее. Тут я не думал, а, можно сказать, играл мыслями.

Спасла бы меня философская литература, если б она существовала на русском языке. Но какая же была литература? Я прочитал все или без малого все печатное, доставая книги чрез брата от одного виноторговца. Отмечаю эту странность. И.И. Мещанинова библиотека состояла из журналов, исторических, географических сочинений, из беллетристических произведений; но в московский период моей жизни перестала и она существовать для меня. От Н.Ф. Островского заимствовались тоже журналистикой. А за учеными книгами обращались к погребщику Соколову, торговавшему в Ножевой линии. Он был библиофил, и именно по части серьезной литературы. Сам он читал; когда читал, что извлекал? Видав его только в лицо, не умею ответить на эти вопросы. Но когда я перешел в Философский класс, и даже ранее, в классе Словесности, книги ученого содержания, относившиеся к моим текущим занятиям, брались у него и находились всегда в более значительном обилии, нежели можно было ожидать. Кроме современных, каковы например были логика Кизеветтера и Бахмана, к моим услугам являлись такие, как Шад, Галич, Сидонского «Введение в философию» и другие произведения отечественных мыслителей. Раз я узнал, что Соколов приобрел даже «Гекзаплы» Оригена, купив у кого-то,

причем предварительно справился у брата, что это за книга, так как сам не владел языками. Вот каков был Соколов-погребщик и вот в каких неожиданных местах можно было находить ученые библиотеки!

Итак, я прочитывал философские книги, как прочитывал год и два назад книги по теории словесности. Но они не возбуждали меня и не успокоивали. Большинство было даже слабо, и я отрицал в них философский элемент. А главное, все они нацелены были не туда, куда стремилось мое внимание. Мне еще тогда нужно было бы дать в руки Спинозу, Юма и Канта, в особенности последнего; меня могла успокоить только критика познания.

Не буду забегать и продолжать далее диагноз этой болезни моей, которой в семинарии было только начало. Назову ее «болезнью о формальной истине»: высшие пароксизмы ее напали на меня уже в Академии, где было раз, что я, по прибытии в Москву через четыре месяца отлучки, не был узнан близкими лицами: похудел, пожелтел, выцвел. И главною, если не единственною, причиной было изнурение от умственного напряжения, в котором проводил я дни и ночи, и ночи часто напролет до утра.

Как раз к тому времени, как заболеть мне исканием формальной истины, философские статьи стали появляться в журналах; к философским основаниям обращались критические отзывы о произведениях литературы; Белинский входил в славу, Герцен начал писать. Требование основательности и последовательности, овладевшее мною до болезни, было причиной того, что я с глубоким скептицизмом отнесся к этим писателям, приобретшим авторитет. А на чем это основано? А из чего это следует? А где же связь мыслей, явно смотрящих в сторону? Раздельно ли самому автору представляется понятие, с которым он носится? Вот вопросы, которыми я сопровождал чтение и на которые отвечал себе отрицательно. Я не увлекся ни на секунду и принимал исторически положения философствовавших публицистов: «такой-то утверждает то-то». Далее притянуть к себе ни тот ни другой не мог меня, и Белинский тем менее, чем более страстности слышалось в его статьях и чем явственнее была моему критическому взору произвольность его общих положений, заимствованных с чужих слов.

На счастие или на несчастие заполонил меня демонстративный метод, но он оказал мне ту услугу, что я в науке перестал принимать что-нибудь на веру и тем обережен был навсегда от увлечений. С критическим стеклом принимался я

всегда за чтение любого исследования, какому бы великому авторитету ни принадлежало оно. Я убеждался в чем-либо, но тогда лишь, когда находил безупречную внутреннюю последовательность, и, во всяком случае, оставляя себе право сомневаться, верны ли еще основные посылки. Об этом своем скептическом критицизме вспоминать приходилось не раз мне и благодарить за него судьбу, когда в зрелом уже возрасте видел вокруг себя увлечение Бюхнером и Фейербахом, Молешотом и Контом, Бокклем и Дарвином и, наконец, экономическими крайностями в ту и другую сторону, социалистическую и манчестерскую. Я задавал себе вопрос: какое бы действие произвела на меня эта литература, если бы мне пришлось познакомиться с ней в молодости? (Фейербаха, впрочем, я читал еще в молодости). О новых авторитетах в сферах богословской, философской, политико-экономической не говорю уже; они рвутся по швам, способны быть уличены критикой, если она ограничится разбором их даже на основании их самих, а Конт, например, даже в детской неспособности мыслить. Но к Дарвину, особенно к Бокклю, я подступил бы с вопросами: помимо того, что обобщения ваши слишком широки, где ручательство, кроме вашей добросовестности, что факты, на которых все опирается, не подтасованы? Подтасованы, согласен, может быть, даже неумышленно; глаз столь же непроизвольно обращается к известным оттенкам явления, как ноги мои по пути в семинарию — на правую сторону Пречистенки. Не поддамся, пока сам не увижу и не вложу руки в язвы.

Этот непримиримый скептицизм может быть причислен тоже к болезням. Не оспариваю этого и не утверждаю, а только объясняющем застрахован был в молодости от умственных увлечений. Между прочим, ему же я одолжен был тем, что признал себя обязанным переверить впоследствии все свои школьные познания, переучиться всему, что требовало не одной памяти, а приглашало и ум, и мысль подчиниться. Я совершил эту работу потом, после всей школы, и за то не могу не помянуть добром старика Баумейстера.

Глава XL
ДОМАШНИЙ КУРС

Философская литература была слаба. По теории словесности высшее и лучшее заключалось в изданных «Чтениях» профессора Давыдова (И.И.). Богословия же, можно сказать, не существовало; историографии, за исключением русской, тоже. Где же узнать? Путь один: иностранные языки, и не латинский с греческим, конечно. Всякая книга, серьезная или с притязаниями на серьезность, возбуждала во мне, помимо всего, чувство досады на жреческий характер авторов, которые что-то выносили из святилища, давая разуметь, что там, в этом святилище, целое море знания и настоящий его источник.

Выучиться новым языкам стало страстным моим желанием со второго года семинарии. По-французски предоставлялось мне выучиться в классе, где я числился учащимся; на немецкий мог я также записаться, если бы желал. Но я сознавал, что не выучусь этим путем; переводятся две какие-нибудь крохотные статеечки в час, а их всего два часа в неделе: много ли приобретешь? Наступала Страстная со Светлою неделей еще в первый год. Распутица; за исключением богослужения сиди дома поневоле. Я решил себя подогнать по французскому языку. При грамматике Перелогова какая-то помещена пьеса; перечитав грамматику, я взялся за пьесу и перевел ее, экзаменовав себя по мере поступления вперед. Находилась у брата еще разрозненная часть Мармонтеля, почему-то попавшая к нему. Перевел ее. Не помню, какую-то книжку еще прочитал тем же путем. Словаря не было, кроме присоединенного к учебнику. Брат, видя мое занятие, достал у кого-то Татищева на несколько дней по моей просьбе. Но прежде того я решил так: значение незнакомого слова угадывать из связи речи по остальным словам. Как же учатся отечественному-то языку? — размышлял я. Детей не заставляют учить слова, и ни мать, ни нянька не служат словарем: значение слова дается само сразу или постепенно. Сверка с Татищевым убедила меня в справедливости рассуждения. Затем я уже прилагал этот прием обучения к остальным языкам: сперва угадывать значение слова или неизвестной формы по окружающим словам и оборотам и после того обращаться к словарю. Если связью речи слово необъяснимо, тогда я держу его в уме впредь до случая, когда оно попадется еще раз. Так я выучился немецкому, английскому, итальянскому; последний, впрочем, остался без применения, и о нем можно сказать только,

что я учился, хотя в Богословском классе купил даже два словаря и обширную грамматику, изложенную на немецком. Но прочитать на итальянском почти ничего не пришлось.

С французским я совладал таким образом в две недели (Страстную и Светлую). В тот же срок обучился французскому языку и митрополит Филарет, как сказывал он. Обучились и он и я, разумеется, свободно читать книги, а не объясняться. А по-английски потом, также в очень краткий срок, выучился я первоначально даже не читать, а лишь усматривать, то есть понимать видимое начертание, не зная произношения даже приблизительно; мудрость произношения показана мне была гораздо после, когда я состоял уже на кафедре.

Немецкому обучился я вскоре после французского упомянутым же способом по двум хрестоматиям, краткой и пространной; у брата нашелся и словарь. Процесс изучения на этот раз был гораздо продолжительнее; здесь не помогала близость к латинскому, как во французском.

Понимать книги я выучился; но где их доставать? что читать? Брат на этот раз не мог оказать мне подмоги, потому, во-первых, что сам не знал новых языков (немецкому хотя учился, но забыл) и не имел знакомых, которые могли бы ссужать иностранными книгами. Затем, если не косо, то равнодушно смотрел он на мои занятия делом, по его мнению, не существенно важным; его образование не было образованием ученого, и гелертерство никогда его не манило. Толкался я иногда на Сухаревке по воскресеньям; там в числе старых книг попадались иностранные. Но они были мне не по средствам при всей своей дешевизне; притом большею частию касались специальностей, меня не привлекавших. Однако я купил, помню, две книжки, заплатив по пятачку за каждую, и одною-то из них заинтересовался француз, с которым я столкнулся в обычном своем месте отдохновения, гроте. Книжка заключала жизнеописания французских генералов времен революции. У француза была тоже книжка, «Самоучитель русского языка», и он просил меня помочь в произношении русских букв. С охотой исполнил я его требование и даже вызвался прийти в другой раз на то же место с тою же целию. Он принял мое предложение с благодарностью, но этими двумя свиданиями и ограничилось наше знакомство. Нечаянный мой собеседник был уже не молодых лет, с сильною проседью, и объявил мне, что приехал в Россию на короткое время с единственною целью посмотреть страну, Европе не известную, но пользующуюся силой и влиянием на европейские судьбы. Я был несказанно рад своему знакомству и нимало не потяготился нарочно прийти из-под Девичьего, чтобы дать второй урок

произношения, к сожалению бесплодный. Произнести правильно слово ножницы было выше французских сил, и сколько раз я ни повторял, француз ладил: но-женитсюи, по национальному обыкновению продолжая последний слог и повышая на нем голос.

Почти не более того времени пришлось мне быть учителем еще одного француза, фабриканта. К брату явилась женщина из простых, вроде горничной что-то, в сопровождении молодого человека, с бакенбардами и большим носом. Объяснила, что вот этот француз желал бы учиться по-русски, но не знает, к кому обратиться. «Меня прислали к вам», — сказала она. На брата указали ей, должно быть считая его более образованным из местного духовенства. Об отношениях своих к приведенному французу неизвестная отозвалась уклончиво. Я обрадовался. Думаю — предложу себя; это мне доставит двойную пользу: заплатят, во-первых, да и сам напрактикуюсь во французском языке. Надежды мои не оправдались, хотя предложение и было принято.

Назначили час. Являюсь. Фабрика была около Саввы Освященного, близехонько. Застаю предполагаемого ученика вдвоем со старшим братом за столом, — кушают жаркое. Первое свидание не повело ни к чему. Я узнал, что они из Лиона и затрудняются незнанием языка, вынуждающим их обращаться за всем к приказчику; а приказчик тут же стоял, молодой человек, совершенно рассейский, не чисто, но бойко болтавший по-французски, наметавшись здесь же на фабрике. Второе свидание объяснило всю невозможность уроков. Следовало пребывать при ученике почти неотступно, в числе других причин и по той, что хотя состоятельный фабрикант, г. Даме, был невежда, не знал грамматики и говорил j'avions [7], а следовательно, ему нужен человек только для практического навыка; приказчик был бы для того хорош, но его нельзя отвлекать от дела.

Идем мы раз зимой с Николаем Лавровым в семинарию, как обыкновенно, ранним утром. Николай Лавров, мой агент по доставлению клиентов, пользующихся моим пером, был сын девиченского дьячка. Когда я поступил в семинарию, он сидел в Риторике уже четыре года и оставлен еще на третий курс. Лектор их класса по греческому языку сидел с ним вместе на ученической скамье в той же Риторике. Соседство и ежедневное обоих путешествие по одной дороге познакомило нас сперва шапочно, потом теснее. А агентура, принятая на себя Лавровым, еще более нас связала.

Итак, идем мы полем, приближаясь к Зубову. Вдруг слышим обращенное к нам:

— Parlez-vous frangais? [8]

Мимо нас проходил несколько сгорбившийся старик с небритою бородой, отросшей уже на четверть дюйма. На нем фризовая шинель и суконная ермолка из разноцветных клиньев. «Должно быть, отставной солдат из бывших под Парижем», — подумал я и сообщил догадку спутнику. Мы прошли мимо, не ответив старику ни слова.

Однако это был не солдат. Я его потом еще видал, не вступая в разговор. Но Лавров с ним познакомился. Поручик, капитан или что-нибудь в этом роде, Талистов был побочный сын графа Остермана-Толстого или просто Толстого, дослужившийся до офицерского чина, а с тем и до дворянства, разжалованный, кажется, и снова выслужившийся; вот кто был незнакомец во фризовой шинели, опрашивавший нас по-французски. У него были жена и дети; у них было небольшое имение; они нанимали целый дом на Девичьем поле, небольшой, правда. Но старик Талистов страдал болезнью русского человека, в высшем классе, впрочем, редко встречающеюся: он пил запоем. Вот причина его нищенской наружности. Когда наступали на него припадки болезни, он пропивал все с себя, и то одеяние, в котором мы видели его первый раз, было не его, а кабацкое, вымененное им на пропитое. Все это передал мне Лавров, прибавив, что он знаком с семейством и даже имеет там урок, учит сына, парнишку лет двенадцати. Замечательный на это был Лавров; я ему удивлялся и завидовал. Сам, едва держась в семинарии по малоуспешности, и притом зависевшей не от лени или гулящей жизни, а от малоспособности и тупости, он, однако, находил для себя уроки иногда даже не в одном доме. Кто же берет его? — думал я часто, зная, как невелик обиход познаний моего агента; я полагал первоначально, что он хвастал. Но аккуратность, с какою в известные дни и часы он отлучался, лишние деньги, оказывавшиеся у него в срочное время гонорара, убедили меня, что едва-едва переваливший в Философский класс после шестилетнего сиденья в Риторике Лавров действительно кого-то и где-то учил. Я даже провожал его не раз до Кузнецкого Моста, до какой-то г-жи Ревель, у которой он давал уроки. До того мало я верил в способность моего приятеля преподать что-нибудь, что не решался допытываться подробно, чему и как он учит. Я боялся, что поставлю его в смущение. А между тем было раз, что он не постеснился предложить свои услуги в преподавании даже французского языка. Я вытаращил глаза, когда он объявил, что уже ходил, представлялся родителям ученика или ученицы, но опоздал; найден другой учитель. Я горел со стыда, дрожал от страха, воображая себя на его месте; но он рассказывал так просто, так благодушно, не сознавая, что совершает неслыханную

наглость. Он взял бы, вероятно, урок даже по математике, которой не знал первоначальных правил, или по преподаванию немецкого, которого не разумел даже азбуки (по-французски он по крайней мере разбирал, и хотя начала грамматики были ему известны). И совершал бы все это в полной уверенности, что поступает добросовестно.

Получая с уроков, состоя агентом по доставке готовых письменных упражнений ленивым или неспособным писать (не принадлежал ли, пожалуй, он и сам к числу моих клиентов, сохранявших инкогнито?), он вел и еще промысел — агента по переписке лекций для университетских студентов. Тогда лекций не литографировали; студенты готовились по рукописным, нуждались в переписчиках; их доставляла Семинария, и многие семинаристы тем исключительно кормились. Было несколько агентов, и Лавров в том числе. У него всегда бывали стопы оригиналов; раздавал он их, а иногда переписывал и сам. При раздаче переписки другим он пользовался комиссионным процентом; полагаю, что не без того было и при передаче сочинений, мною изготовленных. Затем, гонорар за уроки. Лавров всегда поэтому был при деньгах и не тяготил своих родителей-бедняков; на свой счет одевался. Он всегда был даже при табаке, и притом Жукова, что не всякому семинаристу было по карману; большинство курило 3-й сорт, Афанасьева и других.

Итак, я не был удивлен, что Лавров получил урок в доме Талистовых, и был порадован, когда Лавров предложил мне не давать, а брать уроки французского языка у старика Талистова. Старик — очень образованный человек; с ним об этом уже говорено и полажено; Лавров будет ходить к нему, чтобы дополнить свои сведения во французском и именно приучиться к разговорному. Но вдвоем будет охотнее, и он приглашал меня. Я ухватился за случай тем с большею радостью, что мне не предстояло издерживаться. Плата предполагалась небольшая, да и ту принимал на себя мой будущий соученик. А именно, он порядился, что Талистов будет нам давать по два урока ежедневно, по два часа каждый, и получать за это пятиалтынный, два кувшина молока и один французский хлеб в неделю. Практицизм Лаврова сказался и в этом. В число элементов платы входило молоко, потому что у его родителей была своя корова; следовательно, денежные издержки совсем сокращались.

Я нарочно остался в этот (1841) год на вакацию, посетил с Лавровым будущего учителя и поразился его обширными знаниями. Он знал не только французский, который был ему почти природный, но латинский, немецкий (слабее), итальянский и даже еврейский, которому выучился в зрелых летах по

любознательности. Его бывалость чрезвычайная; он путешествовал; в Париже жил в самый разгар революции; дома самой высшей аристократии Двора Екатерины были ему свои. Я впился в него; расспросам не было конца: и о Дворе прошлого столетия, и о жизни наших тогдашних грандов, и об иностранных землях, и о революции. А он мне передавал, кроме того, о своих былых кутежах, о дуэлях, о любовницах, о том, как прожил на них состояние, как брался потом за учительство в пансионах, остепенялся и снова закучивал, переходил мало-помалу от тонких вин к сивухе и, наконец, дошел до настоящей своей слабости. Говорил он одушевленно и красиво, пересыпая цитатами из латинских и французских классиков — классиков старого времени, Корнеля и Расина. Не только Шатобриан, о котором отзывался он с презрением, но даже Вольтер был для него молодым, в том по крайней мере смысле, что правописания вольтеровского он не признавал, возмущался им и писал j'etois, j'avois [9]. Когда касался разговор французской литературы, я щадил старика и не упоминал о существовании новых писателей, не желая его раздражать напрасно. Я показывал вид, что и для меня Шатобриан есть последний; французская литература как бы кончилась, теперь уже нет ничего. Но я упивался разговорами, постоянно вызывал на них, и достойна была кисти художника эта картина. Комнатка в мезонине, точнее — на чердаке, маленькая, едва можно повернуться, аршина три в ширину. Бедная деревянная кровать, прикрытая худым одеялом, лоскутным, употребляемым прислугою; два убогие стула и столик: все такое, чего никто не купит, за что не дадут копейки и чего нельзя, следовательно, пропить. Сидит, а больше стоит, когда разговаривает, приземистый старик с волосами совершенно белыми, черты лица выразительны, большие черные глаза сверкают. Манеры благородны, то мягки, то величественны, обличают аристократическое воспитание; речь изящна, часто одушевленна. Но на нем фризовая не то шинель, не то халат, с заплатами; а распахнется — белье, висящее лоскутьями, совершенно худое, опять чтобы пропить нельзя было. Против него мы двое, семнадцати- и двадцатилетний, один, весь превратившийся во внимание, глотающий каждое слово, другой — равнодушный и даже скучающий, вероятно: что ему Корнель, Расин, Двор пред революцией, князь Григорий Григорьевич, везущий в Швейцарию свою молодую, едва расцветшую супругу, в которую он влюблен после близости к Екатерине? Там она умрет, убьет ее именно любовь мужа, слишком страстная, и главный виновник переворота 1762 года будет тосковать по ней безутешный. Что Лаврову Альпы, Женевское озеро, Лудовик XVI,

барская жизнь екатерининских вельмож?

Раз мы разговаривали об императоре Павле, его крутых мерах, строгой дисциплине, им заведенной, невозможном требовании, чтобы выходили из экипажей для приветствия его проезжающие. Я сказал резкое слово:

— Да он был сумасшедший.

Мой собеседник преобразился. Ласковый, мягкий, плавно рассказывавший до того, он вскочил, лицо его закипело гневом, рука поднялась величественно.

— Как вы смеете так говорить о моем государе!

Я думаю, полчаса лилась потоком речь его, негодующая и презрительная, топтавшая меня в грязь. Я, молокосос, осмеливаюсь на такие отзывы о таких особах!

Я был стерт в порошок. Я почувствовал всю дерзкую неуместность слова, неосторожно вырвавшегося. Я просил извинения, не зная, куда деваться от смущения, особенно когда старик сказал гневно: «Вы недостойны отселе переступать этот порог!» Но я любовался в то же время и почти благоговел пред рыцарскими чувствами, выражение которых в такой силе и искренности, среди такой притом обстановки, я слышал первый раз в жизни.

Начались наши уроки, но немного длились, недели две, три, не более. Разница в познаниях между мною и Лавровым была чрезвычайная. Для него надобно было начинать с самого начала. Учитель наш взял Ломонда (других, позднейших грамматик он не признавал) и начал экзерсисы с первой строки: l'hote et l'hotesse sont au logis [10]. Но я это уже давно сам по себе знал; грамматика Ломонда была у меня, и экзерсисы мною без учителя почти все были пройдены, а Талистов задавал сначала по страничке. Я просил его, правда, идти со мною далее, независимо от Лаврова, и он даже согласился. Но первоначальный план все-таки расстроился; мне отчасти и совестно было пред Лавровым, а Лавров затруднялся даже и одною страничкой. Поэтому он и охладел отчасти. Наконец, брат мой, прослышав о моих систематических посещениях какого-то неизвестного ему дома, заподозрил неблаговидные цели и раскричался на меня, между прочим, за то, что я брал с собою «Детский журнал», книгу Н.Ф. Островского, бывшую у нас на подержании. А я брал ее затем, чтобы под руководством Талистова переводить ее на французский. Отношения мои с братом к тому времени уже расстроились. Я счел унизительным для себя оправдываться и предпочел оставить свои ежедневные учебные посещения, тем более что к тому же времени несчастный учитель мой и запил. Откуда он взял денег? Не наши ли пятиалтынные пособили ему?

Я застал его в одной рубашке: семья спрятала даже его халат, чтоб отнять последнюю возможность выхода из дома. С помутившимися глазами бурчал он что-то по-французски; увидав меня, стал в позу и начал декламировать из Корнеля. Говорить было нечего, и я оставил чердак с тяжелым чувством. Такой человек, и так ниспал!

Университетские лекции, бывавшие у Лаврова, не проходили мимо меня. Я не переписывал их; почерк у меня всегда был негодный; но я прочитывал их. Лекции были преимущественно медицинского и юридического факультетов. К сожалению, сведения получались разрозненные, без начала и конца, с перерывами. Но помню, пробежал я с жадностью тетрадки из физиологии (кто ее тогда читал? не Филомафитский ли?). Помню еще трактат, из какой науки не ведаю, заинтересовавший меня, о государственных и монастырских имуществах. Многое почерпал я и еще, чего сейчас не приходит на память. Иногда находя в себе неожиданное сведение, которого, сколько помнится, ни в какой книге не вычитал и которое относится к специальности, совсем мне чужой, недоумеваю: да откуда же я взял это, как пришло ко мне? После некоторого усилия вспоминаю: «А, это в какой-нибудь из рукописных университетских лекций досмотрел я, тех, что почитывал у Лаврова!»

Глава XLI
БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖАЮЩЕЕ

Лавров был мне не товарищ. Приличный, почтительный к старшим, целомудренный, вина не пил; но души я с ним отводить не мог. Подобия даже каких-нибудь идеальных запросов не зарождалось в душе у него. Достать урок, сходить на урок, достать лекций для переписки, раздать лекции переписчикам и собрать обратно, заплатить дань поклонов многочисленной, видной родне, не опуская ничьих именин и рождений, — вот чем исчерпывались его интересы. Вероятно, светилась ему в отдалении мысль: получить при помощи всесильного родственника Александра Петровича дьяконское место в Москве по окончании курса, зажить домком, а там присматривать, не подойдет ли случай со временем даже и священническое место получить при той же помощи. Но даже до этих мечтаний в разговоре со мною у него не доходило: счастливая природа — довольствоваться окружающим, не забираясь ни в глубь, ни в даль! Я же мог только подлаживать свои душевные струны в тон моему собеседнику, расспрашивать о подробностях передаваемого им случая или об обстоятельствах упоминаемого им родственника, сообщать ему собственные мелочные случаи. Петр Николаевич Кудрявцев, в качестве родственника, был для Лаврова случай добывать лекции для переписки; а для меня был Петр Николаевич Кудрявцев — первый студент университета, вышедший из нашей Семинарии первым же студентом, параллель Ивану Алексеевичу Смирнову-Платонову, первому студенту Вифанской семинарии, окончившему первым в Академии. Моя мысль неслась на сравнение их познаний и способностей, на то, как и чем они достигли своих успехов. Завидовал, в частности, что вот Лавров может осязать Кудрявцева; мечталось, сколько бы я мог вырасти и обогатиться умственно чрез общение с такою знаменитостью. А Петр Николаевич — будущая знаменитость среди профессоров и литераторов — был знаменитость и для семинарии ранее своей славы в университете. В семинарии, как и в училище, известные воспитанники и целые даже курсы оставляли предание; Петр Николаевич выдавался и сохранился в памяти. Мои взгляды, мои мечты не могли ожидать отзывчивости от Лаврова, и я мог их держать только при себе.

Лавров меня не навещал. Да вообще я не принимал никого и принимать не мог. Нужно было бы испрашивать позволение у брата и выслушивать допросы: кто, как, почему, — подвергнуть

гостя, может быть, высокомерному, пренебрежительному обращению. А Лавров и тем паче не смел бы переступить порог. Он был сын дьячка; а дьячок есть «ты» для священника и для дьякона. Его употребляют на посылки, причем за исполнение награждают поднесением рюмки. Дьячок не сидит в присутствии священнослужителя и не впускается далее передней. Пусть Егор, отец Лаврова, и пользовался некоторым уважением по своим летам и вполне благопристойному поведению; обращаясь к нему, употребляли и отчество иногда, им не помыкали; но всё — дьячок, и сын его, пока не кончит курса, всё сын дьячка, не более.

Я, в свою очередь, не часто посещал Лаврова, при всей близости местожительства. Я захаживал к нему перед классом, чтобы вместе отправиться в семинарию. «Захаживал» — это значит совершал более полуверсты крюку: шел в противную от семинарии сторону до Лаврова и затем проходил обратно тот же путь с Лавровым. Очень редко заходил я днем. Кроме «Дементия», никого мы вместе не посещали, и раз только совершили вдвоем прогулку на Воробьевы горы, к отцу Добронравова, обыкновенного нашего сотоварища по «Дементию»; отец Добронравова, более известный в тогдашнем московском духовенстве под именем Тарабара, был в Воробьеве дьяконом; он казался очень живым, веселым и необыкновенно разговорчивым человеком и дал мне из своего обращения понять, почему его прозвали Тарабаром. Раза два ходили мы в сад Чижова (прежде Милюковой, а теперь Ганешина), гуляли по лабиринту, между прочим описанному в одном из романов Загоскина, катались на лодке по пруду. Но и туда прогулку я предпочитал после того совершать в одиночестве.

Сад был в частном владении, однако я, и Лавров, и всякий входил в него свободно. Сиживал я там по целым часам, по получасам катался на лодке, всегда свободной; она была на привязи и никогда не заперта. Ни разу ни от кого замечания. В те времена мне и в голову не приходило, что я самовольно распоряжаюсь в чужом владении, и миллионы русских людей пребывают до смерти при этом неразвитом понятии о собственности. Двадцать лет минуло, и нужно было произойти особенному случаю, чтобы вопрос о законности права, которым я пользовался беспрекословно в Чижовском саде, потребовал от меня размышлений. Я нанимал дачу в Останкине. Вотчинная контора распорядилась, между прочим, загородить ход в некоторые места сада и парка. Дачники взволновались, забунтовали, и мне пришлось, по крайней мере с полудюжиной, тратить время на препирательства.

— Да позвольте, — возражал я, — контора вольна запереть

нам сад совсем. Вы нанимаете у крестьянина; в число договорных условий не входило обязательство пускать вас в сад, да и не в воле это вашего хозяина.

— Да я с тем нанимал. Я, где хотите, в другом месте провел бы лето. Согласитесь, что это свинство, никогда этого не было. Нас несколько сот, как можно так с нами обращаться!

— Но может быть, у вас в городе, — обращался я к некоторым, — есть и дом и сад. Вы позволите всякому постороннему ходить там и проводить время по целым дням?

— Это совсем другое, — горячится собеседник. — То город, а то деревня. Там придет вор какой-нибудь, еще обокрадет. Помилуйте, граф еще, огромное состояние: что у него, испортят дорогу что ли, когда дачники, приличные люди, пройдут по ней? А извольте теперь, отправляйтесь кругом, чрез грязь.

И так далее. Меня занимали эти прения тем, что происходили вскоре после манифеста 19 февраля 1861 года, когда о правах собственности исписаны были по поводу реформы целые томы; и притом спор приходилось вести с людьми, которые вмиг переменяли точку зрения, когда повертывал я разговор на отношения их с бывшими крепостными. Неуважение крестьянина к принципу частной поземельной собственности их возмущало, они негодовали; а здесь, наоборот, становились сами на осуждаемую ими точку зрения и приходили в негодование, когда я уличал их. Здесь, по их мнению, в Останкине, совсем другие отношения.

То был первый случай соприкосновения моего со сбивчивыми, противоречивыми представлениями о поземельном праве, не чуждыми даже образованному классу. После же приходилось десятки и даже сотни раз встречаться с бессознательными коммунистами, очень ретиво, однако, оберегающими личное право, когда бы дело дошло до покушения на их собственность. Один случай особенно характерен. Я жил близ Петровского-Разумовского. Само Петровское-Разумовское с садом и парком принадлежало тогда П.А. Шульцу. Общество моих знакомых отправилось в сад гулять, и один из кавалеров, желая услужить дамам, нарвал цветов с куртины, расположенной пред самым домом владельца, который вдобавок сидел на ту пору пред цветником с семейством и гостями. Чрез садовника последовало замечание и просьба не трогать цветов; а услужливый кавалер выбирал что не есть лучшие, чтобы собрать букеты повеликолепнее. Последовал крупный разговор. Потоки негодования лились, когда виновники происшествия передавали мне о грубости владельца. «Помилуйте, если уж ему так жалко, мог лично подойти и вежливо попросить. Видит ведь, что дамы

тут, и вдруг садовника: не смей трогать! Видите, разорили! Ему оказывают честь, что гуляют по его саду, а он…»

Убежденный опытом в бесплодности, я уже не усиливался особенно разуверять, довольствуясь замечанием, что нужно спасибо сказать, когда и гулять-то пускают. Правда, не чувством какого-нибудь нравственного долга внушается большею частию это внимание и владельцев к публике. Русский простор и затруднение держать сторожей и устраивать изгороди, затем предание, — вот главная причина кажущегося великодушия, и если нельзя похвалить кавалеров, собирающих букеты в чужих дорогих цветниках, то стоит посмеяться и над теми владельцами, которые обставляют свои парки и леса шестами с надписью: «Входить строго воспрещается». Меня всегда забавляет эта непременная прибавочка наречия «строго». Почему не просто «воспрещается»? Не все ли одно? А тут сказывается досада на сознаваемое бессилие, и она вымещается словом «строго». Нельзя помешать, пройдут все равно, не обращая внимания на надпись; так хоть усилить выражение. Забавно! А этим господам, сердитым, но не сильным, можно напомнить общепринятое международное правило, что «блокада тогда только признается, когда объявляющий блокаду обладает средствами поддержать ее». Так и владелец, объявляющий свое поземельное владение в блокаде, обязан прокопать рвы, воздвигнуть изгороди, поставить сторожей. А без того оно есть общественное вхожее место, и нельзя гневаться, когда прохожие не трогаются надписями «воспрещается», хотя бы воспрещалось не просто, а «строго». Обязан ли прохожий читать эти надписи и умеет ли даже прочесть каждый?

Кроме Чижовского сада навещал я Нескучный, с которым было легкое сообщение чрез перевоз; казались тогда очень недалекими несколько верст, отделявшие Новодевичий от реки; вход же в Нескучный свободен был не только с Калужской улицы, но и с берега. Удалялся я на размышления и в сад Ступина, большой, запущенный, расположенный между огородами, с повалившимся по местам забором и со старым барским домом, от которого веяло плесенью. Сказывали, что некогда помещался тут какой-то клуб. Но к моему времени даже памяти о человеческом жилье не сказывалось ни домом, ни садом с заросшими дорогами и бурьяном и с грачами, каркавшими вокруг. Я любил это уныние и легче сосредоточивался, диктуя себе собственные сочинения или возносясь в другой мир на фантастических крыльях. Из любознательности, которую можно назвать тоже фантастическою, я отправился раз на измерение Вавилона-колодца, за монастырь, в направлении к Воробьевым горам. Что это был за колодец? Туда

совершался крестный ход из монастыря в урочный день года; шатер над ним вроде часовни; предание какое-то есть о нем; говорят, он бездонный. Как бездонный? И я вооружился большим клубком бечевки, привязал к ней камень и стал спускать. Я дна действительно не достал, по крайней мере так мне показалось. Физики тогда не знал еще, и могло случиться, что развертывала клубок сама бечевка, размочившаяся и от того увеличившаяся в весе, а не камень, давным-давно, быть может, лежавший уже на дне.

Но вообще я не знал, куда девать время, когда не было ни чтения дома, ни письменной работы. Такое несчастие в особенности постигало в каникулярные периоды, Святки, Масленицу, Светлую неделю и вакацию, если оставался в Москве; а Масленицу и Светлую неделю я, все четыре года жизни у брата, проводил в Москве, не уезжая в Коломну. Брат, при всей природной словоохотливости, вступал теперь лишь изредка в разговоры; невестка была совсем из молчаливых. Оставались дети, из которых старший был моложе меня на шесть лет. Посторонние бывали редко. Семью вообще можно было назвать читающею, но не говорящею. До некоторой степени напоминалась даже коломенская семья, с тем различием, что там отец и я читали непрерывно, а сестра иногда. Здесь непрерывно читали невестка и дети (двое старших), а брат реже. Старшие племянник и племянница забавлялись между собою иногда, экзаменуя себя взаимно. Я от нечего делать принимал участие в этой самоизобретенной игре, которая при благоразумном руководстве могла бы приносить детям и положительную пользу. Дети читали в журналах повести и потом обращались друг к другу с вопросами:

— «Ладно, — сказал он, завертывая покупку в грязную бумагу». Где это сказано?

Собеседник большею частию угадывал, откуда взято место, и предлагал свой вопрос в виде цитаты из другой повести или романа.

Особенно тоскливо тянулись Масленица и Светлая неделя. Чтобы девать время, я отправлялся бродить по Москве и наблюдать веселящихся по улицам и под Новинским. Полагаю, с тех пор идет, что целодневные звоны производят на меня крайне удручающее впечатление всегда. «У всякого есть радость, есть забвение себя, — думал я, шагая по улицам. — Ну, чему они рады? Как это досадно!»

Под Новинским раз я сделал наблюдение над процессом кражи, оказавшейся для виновника забавно неудачною, а для потерпевшего — неприятною не в смысле потери имущества. Уже

раз двадцать, может быть, прошагал я от Кудрина до Смоленского и назад: та же глазеющая толпа, те же экипажи с публикой малоинтересною, те же паяцы. Поворачиваю для разнообразия на заднюю сторону гулянья; она пуста совершенно, только извозчики жмутся кое-где у тротуаров, и некоторые из любознательных мастеровых и крестьян уткнули носы в стены балаганов в усилии увидеть что-нибудь. Внимание напряжено, и карманник этим воспользовался. Вижу: около крестьянина в полушубке, приставившего глаза к щели балагана, поместилась чуйка и осторожно вытаскивает торчавший из кармана у крестьянина ремешок. Медленно тянул кажущийся мастеровой, тоже смотря, по-видимому, в щель. Довольно долго продолжавшаяся операция завлекла меня. Тащил, тащил и наконец вытащил. Добыча оказалась не кошельком, как воображал, вероятно, жулик, а только длинным ремнем.

— Ах, ты!.. — вскрикнул вор в негодовании, стегая мужика вытащенным ремнем. — Таскаешь такую дрянь!

Оглянулся мужичок; оглянулись и прочие участники контрабандного зрелища чрез щелку. Хохот, остроты; участие приняли и извозчики, жавшиеся у тротуаров, и предметом шуток были оба равномерно, и жертва и виновник проступка. А жулик остался тут же, лишь несколько переместившись.

— Не выудил! Поди, попытай еще, — говорили ему вслед добродушно.

Товарищей в первые годы, да и во весь семинарский курс, не было таких, которых бы я навещал; да и разъезжались, к кому бы еще мог зайти. Но в числе спутников по дороге из семинарии был сын дьякона с Воздвиженья-на-Овражках. Я был уже в Философском классе, он — в Риторическом. Он вышел первым из училища. Это обстоятельство меня к нему потянуло. Я ожидал в нем найти подобие и часть себя, заговаривал с ним дорогой, а раз, именно во время Масленицы, зашел к нему. Он был единственный сын у отца-вдовца. Я надеялся встретить однозвучную мне тоску, ум, томящийся уединением и бездействием. Я нашел юношу более хозяином, нежели любознательным учеником. Он разливал чай и вообще носил на себе прозаический вид хозяйки, немного возвышающейся над кухаркой. Мертвый разговор, а после чая, так как я оказался третьим, мне предложено играть в горку. Я отозвался незнанием. Меня обучили и тем легче убедили, что игра была не на деньги. Иль нет, на деньги, только на особенные. Папаша-дьякон достал из шкафа мешочек, весь наполненный полушками старого чекана, но не изношенными, разделил между нами поровну, и началась игра. По окончании игры поужинали, и я вышел разочарованный,

очень благодарный за гостеприимство, но вынесший хуже, нежели пустоту, какое-то засорение в голове. Я бежал от уединения, не зная чем избавить себя от поедающей меня внутренней работы логических ли построений или фантастических сооружений, а нашел убивание времени, после чего голова не освежалась, а тяжелела. Придешь к Лаврову; там по крайней мере у отца его, дьячка, вытеребишь об его молодости. Он родом из барского села, и барином у них был сочинитель. Слово «сочинитель» произносилось с почтением, и из рассказов видно, что и тогда, когда «сочинитель» здравствовал, он пользовался почтением от окружающих за свое сочинительство.

«Кто же это такой? — думал я. — Не Державин ли? Уж не Карамзин ли?» Из рассказов оказалось, что это был Николев. Николев! Я до того времени о нем и не слыхал, а на дьячке Егоре сохранилось обаяние, и он с видом почти благоговения перечислял мне творения этого совершенно забытого теперь писателя, не пользовавшегося особенною славой, кажется, и в свое время. Какая противоположность с одним офицером, с которым я познакомился лет чрез десяток, родственником по жене! Познакомившись, я полюбопытствовал знать о его службе: заставный офицер; а прежде где служил? Он перечислял полки и корпуса и затруднялся припомнить фамилию главнокомандующего, при котором начал службу.

— Вот не помню, как его…

Я пытался ему помочь, перечисляя некоторые фамилии известных мне второстепенных генералов старого времени. Наконец он вспомнил:

— Ну, Суворов. Вот, вспомнил.

Предоставляю читателю судить о моем не то что удивлении, а остолбенении. Я начал допытываться, не смешал ли он, не переврал ли; нет, оказалось, что он забыл именно фамилию знаменитого полководца, перешедшего Чертов мост, князя Италийского, графа Суворова-Рымникского. Вот и судите: один с благоговением чтит память знаменитого, по его мнению, сочинителя Николева; другой не вспомнит фамилию главнокомандующего, который, однако, был Суворов.

Досказать ли о Лаврове? Дьяконского места в Москве он не успел получить. Просидев в Риторике шесть лет, он равно шесть лет просидел и в Философии. Я уже поступил в Академию, а он все еще сидел на ученической скамье Среднего отделения. Я уже потерял его из вида совсем, года три почти не встречался, как получаю в Академии письмо с просьбой написать сочинение. Бедный, что с ним сталось?

Глава XLII
СВЕТСКИЙ ПОСЛУШНИК

Прерываю течение рассказа, чтобы познакомить читателя с одним замечательным человеком, упомянутым в предшествовавшей главе. Он не имел отношения ни к Семинарии, ни ко мне в частности, но заслуживает памяти как сам по себе, так и потому, что судьба его и положение дают дополнение к нравственному облику знаменитого всероссийского иерарха, Филарета.

Я упомянул, что Николай Лавров, мой спутник и клиент, мог мечтать о получении дьяконского места в Москве со временем, при помощи «всесильного Александра Петровича», своего родственника. Кто этот всесильный родственник? Это был Александр Петрович Святославский, домашний секретарь митрополита Филарета. Его считали всесильным, потому что он успевал устраивать своих родных на епархиальные места помимо более достойных кандидатов. Да и вообще проситель, обнадеженный помощью «Александра Петровича», под этим именем известного всей епархии, мог быть уверен в успехе. Его протекция для того, кто успевал ее приобрести, была вернее протекции всякого сановника; но на деле он был отнюдь не всесилен и не брался за то, что ему прямо не подлежало. Читатель ошибется, если в образе Святославского представит себе архиерейского секретаря, подобного тому секретарю Орловского епископа, которому вместе с его патроном сочинен был в пятидесятых годах сатирический акафист, разошедшийся в рукописи по духовенству всей России. Ничего похожего, потому что и сам Филарет был не Смарагд.

По поступлении на Московскую епархию Филарет потребовал от консистории, чтоб она прислала ему писца для домашней его канцелярии. Консистория прислала Святославского[11]; он и был писец, не более, хотя получил семинарское образование; писцом он и остался до смерти, последовавшей чрез тридцать с лишком лет его службы. Во все это время Святославский был неизменною тенью митрополита, повсюду его сопровождавшею, ни на сутки, почти ни на час от него не отлучавшеюся, не потому, однако, и не затем, почему и зачем неотлучно состоят секретари иногда при других архиереях и правители дел вообще у сановников, затрудняющихся иногда ступить шаг без «правой руки». Митрополит не поручал никаких дел секретарю; каждое дело обсуживал сам и сам составлял каждую бумагу. Он не возлагал на

секретаря никаких и докладов, а тем менее позволял ему подавать какие-нибудь мнения. Докладывали викарные, секретари консистории, ректоры, благочинные, каждый по кругу своих обязанностей; просители каждый лично объяснял, когда помимо письменной просьбы требовалось личное объяснение. Домашнему секретарю оставалось докладывать не о делах, а только о лицах, являющихся с докладами или просьбами, и то в ограниченных случаях. Первою его обязанностью была регистратура официальной переписки митрополита. Затем он был переписчик и чтец. Читал он митрополиту иногда входящие бумаги (когда они бывали очень обширны), а чаще книги, и притом светские, когда любопытствовал владыка о их содержании; переписывал бумаги, исходящие от митрополита. Писец и чтец только, писец и чтец неотступный в течение тридцати с лишком лет, писец и чтец, составлявший всю канцелярию сановника, управлявшего не только епархиальными делами, но целым духовно-учебным округом, участвовавшего во всех синодальных делах сколько-нибудь важных, входившего в постоянное должностное соприкосновение с генерал-губернатором и с министрами. Александр Петрович был показателем, между прочим, всей умственной мощи, всей невероятно обширной личной деятельности знаменитого иерарха. Заурядная личность не должна бы выдержать и своего скромного значения тени; дюжинных человеческих сил не должно бы хватить и на то, чтобы быть планетой столь большого светила. Но Святославский выдержал и в течение тридцати лет не отходил от владыки, не искал повышений или лишнего вознаграждения, кроме помощника себе, такого же писца. Он носил миниатюрный портрет митрополита вместе с крестом на шее, вынимал его иногда и нелицемерно целовал наравне с крестом, как икону. Александр Петрович был не только писец и чтец, но был подвижник, послушник, только одетый в длиннополый сюртук вместо подрясника; подвиг иноческого послушания он нес исправнее и ревностнее любого монаха. Он не был женат и никуда, за исключением чрезвычайных случаев, не выходил из своих двух комнат, которыми пользовался в митрополичьих покоях. Единственными прихотями его были хороший чай и трубка с табаком. Хотя куренье табаку не одобрялось митрополитом, но он не насиловал в этом своего секретаря.

В течение тридцати лет авва-митрополит ни разу не посадил своего писца-послушника в своем присутствии; только в последние годы или даже в один, предсмертный год, когда Александр Петрович, изнуренный, уже носил в себе роковой исход, митрополит указывал ему на стул с позволением сидя

продолжать чтение, тянувшееся несколько часов. Обращение владыки не переходило никогда в подобие близости. «Если святитель призовет и скажет ласковым, почти просительным тоном: вот поторопись, перепиши, пожалуйста, — я уж понимаю. Это значит, какая-нибудь длинная записка, за которою надобно сидеть и день и ночь напролет, да и не одну. Без того отдаст молча или прикажет сухо: перепиши». Суровость обращения, впрочем, вообще смягчилась после того, как за три года до смерти[12] со Святославским последовал удар. Начали делаться припадки, и когда доводимо было о них до сведения владыки, он входил к больному, благословлял его; как родные уверяют, Александр Петрович немедленно под действием благословения приходил в себя, раскрывал глаза и улыбался.

Александр Петрович был почтен вниманием и уважением не только епархиального духовенства, но всех, кому приходилось иметь постоянные дела с митрополитом. Старосты и храмоздатели осыпали его подарками и не предпринимали ничего без его совета, а дерзавшие раскаивались после в своей самонадеянности.

Митрополит не брал денег за освящение храмов; он признавал совершение этого обряда обязанностию своего пастырского служения. Александр Петрович предупредил об этом одного Тита Титыча, который удостоился того, что сам владыка освятил созданный им храм.

— Ну, да мы знаем. Небось, не посрамлюсь.

Ввалился Тит Титыч ко владыке благодарить за посещение, которого удостоилось сооружение. Принят. Благодарит.

— Вот, владыка, примите от моего усердия, — кланяется храмоздатель и предлагает митрополиту пачку.

Благословил митрополит и говорит:

— Я не принимаю платы за освящение храмов.

— Да ваше высокопреосвященство, вы пересчитайте, ведь тут тысяча рублей, — с необыкновенным самодовольством настаивает Тит Титыч.

— Вон ступай! — воскликнул раздраженный митрополит.

— Я вас предупреждал, — замечает потом Святославский ошпаренному ктитору, который уже предвкушал на своей груди медаль. — Ох, то-то вот и есть; не обещаюсь, но попытаюсь умолить владыку, — продолжал Александр Петрович. — Вы только не показывайтесь на глаза, пока я вас не уведомлю.

Выбирает случай и докладывает владыке Святославский, что староста сокрушается, просит прощения и не смеет явиться.

— Да представь себе, он мне предлагал деньги!

— Он не умел объясниться, владыка. Он деньги приносил не

вам, а на Горихвостовское заведение для бедных духовного звания. Хочет ознаменовать освящение храма пожертвованием на бедных.

— Это дело другое, — сказал митрополит, смягчившись. — Пусть внесет.

— Но он просит вашего благословения.

— Пусть явится.

От совещания с Александром Петровичем не уклонялись и более значительные лица, имевшие нужду в митрополите, светские особы и духовные, даже архиереи. Попасть в час, угодить вкусу, оберечься от бестактности, — кто же мог наставить в этом вернее неизменной тени митрополита, его неизменного слуги?

— Просил я не раз Александра Петровича к себе, — передавал мне один из московских настоятелей, поддерживавший добрые сношения со столь необходимым лицом, как секретарь владыки.

— Вы знаете мое время, когда же мне выбрать час? А вот разве: владыка будет освящать церковь в Вишняках; после того он, наверное, заедет к Семену Логиновичу (Лепешкину, старосте) на чашку чая. Тогда часочек урву и приеду, пожалуй, к вам.

Наступил условленный день; владыка проехал; следом за ним Александр Петрович и на перепутье завертывает к приятелю-батюшке.

— Сели мы за чай с ромком. Я запасся самым лучшим, тем и другим. Припас и сигар самых дорогих, какие мог найти. Но только что мы было расселись, — продолжал рассказывать иерей, — как послышался звон в одной церкви, и в другой, и в третьей. Освящение кончилось, и владыка возвращается. Стало быть, он не заехал к старосте, может быть, почувствовал нездоровье. Проскакала мимо окон шестерня. Александр Петрович поспешно оставил недопитый стакан и бросился в коляску, в которой приехал. Тщетно старался он перегнать митрополичий экипаж. Только следом за ним могла поспеть наемная коляска на подворье.

Когда митрополит возвращался откуда-нибудь, его большею частию дожидались уже нуждающиеся во вспоможении, и Святославский был обыкновенным раздаятелем милостыни. И он знал, кому сколько дать. Хотя митрополит никогда не назначал цифры, но достаточно было тона и выражения.

— Святославский, — скажет митрополит, — подай нищим.

Это значило, что обыкновенных нищих, толпящихся на крыльце, нужно оделить по гривенничку, по пятиалтынничку.

— Святославский, бедные дожидаются.

Это значит, что в передней стоят просители и просительницы,

не принадлежащие к уличным нищим, которым нужно помочь рубликом или тремя.

— Святославский, помоги, — скажет тоном ниже и более тихим голосом.

Значит, какой-нибудь чрезвычайный случай; чрезвычайный проситель или просительница объясняли митрополиту свое положение.

— Попросишь повторить изложенные владыке обстоятельства, и видишь, что нужно выложить сотенку, пожалуй, и три, чтобы выручить из нужды.

Когда опоздавший несколькими минутами Александр Петрович явился, владыка вскинулся:

— Что это! Нельзя отлучиться, и тебя уж нет. Тут бедные, нуждающиеся в помощи; они ждали, я должен им помочь, и по твоей милости я не могу исполнить христианской и пастырской обязанности.

И пошел, и пошел, горячась все более и более.

— Владыка, — отвечал, наконец, доведенный до слез Святославский. — Во все тридцать лет, как служу я вам, один только этот раз случилась со мною оплошность. Простите, не вмените в вину.

Смягчился митрополит.

— Так помоги, — сказал он уже мягким тоном, — дожидаются. Таковы были отношения. Митрополит не считал своих личных денег и до них не касался. Ими заведовали частию Лавра, частию эконом, частию секретарь. Только раз во все пребывание на Московской кафедре, по словам того же Святославского, митрополит обратился к нему с вопросом: «Святославский, сколько у нас денег?» Это было во время опалы, в 1824 году, когда предстояла опасность быть переведенным в Грузию и об этом ходил слух.

Безотчетное распоряжение частию митрополичьей казны давало Святославскому случай нажиться. Экономы митрополичьего дома, которых перебывало несколько, успевали собирать в короткое время до нескольких сот тысяч. У одного из них, по оставлении службы в митрополичьем доме, обнаружена кража полутораста тысяч, да и кроме того осталось. Это богатство объяснялось бывшею службой на архиерейском подворье. Но Святославский не оставил после себя ровно ничего денег, а только картины и разные вещи (дареные), и похоронен он был родными на их счет. Поэтому я решительно отклоняю всякое подозрение о том, чтобы Святославский злоупотреблял доверием митрополита или оказывал кому-нибудь протекцию за деньги. Да и не дослужил бы он до конца жизни на подворье, при

лихоимстве, как не дослуживали экономы. Мне кажется, напротив, что Святославский проникся принципами самого митрополита, которого боготворил.

За такую преданность, за такую беспримерную и непрестанную, неусыпную службу не мог же и митрополит не чувствовать признательности, и потому личные ходатайства секретаря, приносимые притом в благоприятное время, принимались во внимание. Отсюда молва о всесильности. При всем великом уме и осторожной внимательности, митрополит давал собою пользоваться людям, изучившим его. Кроме Святославского к числу таких принадлежали лаврский наместник Антоний и, между прочим, Алексий, сначала инспектор, потом ректор Московской семинарии, затем ректор Академии и викарий. Живо помню, как во время службы моей у Троицы нужно было предотвратить ли посещение митрополита или вообще отвести его глаза от чего-то, ревизия чего могла навлечь неприятные последствия. Алексий с улыбкой передавал, что он отправился к митрополиту с недоумением о какой-то пустой бумажонке. Митрополит был жаден к делу: стоило только подсунуть ему корма; возвращаясь из отдаленных поездок, он, шатаясь иногда от усталости, прежде всего бросался на бумаги, его дожидавшиеся, и потом уже отдыхал. «Ну, этого старцу хватит, занялся очень внимательно», — с улыбкой передавал Алексий о своей хитрости. Святославскому ли не изучить было митрополита, и ему ли было не уметь пользоваться своим знанием? И должно отдать ему справедливость: он пользовался не на зло, а на добро, хотя иными не заслуженное.

Не оставил митрополит своего верного писца-чтеца и без официальной награды. Он его представил к ордену, и, помнится, по указанию синодального обер-прокурора. Сам бы он на это не дерзнул. Официальное положение Святославского, не занимавшего классной должности, значившегося едва ли не писцом консистории, не давало ему прав на служебную награду. А митрополит был строгий законник, не дозволял себе никогда превысить меру полномочий, законом данных, и тем более просить чего-нибудь из уважения к себе лично, к своим архиерейским заслугам. Итак, в силу постороннего указания, чуть не понуждения, последовало представление.

— Что же это вы, владыка, ничем не наградите Александра Петровича? — так воспроизвожу себе слова другого Александра Петровича, графа Толстого, который знал Святославского и обращался к его посредничеству еще ранее, чем получил звание синодального обер-прокурора.

— Да чем же я могу наградить? — вероятно, отвечал с

недоумением смиренный митрополит. — Он служит усердно, правда, но он не занимает штатной должности.

Обер-прокурор успокоил, и митрополит представил к Анне 3-й степени и, несомненно, радовался детски, что успел обломать такую штуку, выхлопотать своему слуге такую неслыханную награду!

Нечто подобное потом было с А.В. Горским. Когда поручено было Горскому с Невоструевым составить описание рукописей Синодальной библиотеки и когда совершена была ими первая часть этого беспримерного труда, с которым по полноте, основательности, глубине, подробности не могут быть даже сравниваемы знаменитейшие описания знаменитейших библиотек, составленные знаменитейшими учеными Европы, митрополит представил Горского к ордену Владимира 4-й степени. Награда, правда, небывалая: Горский не имел священного сана, но и не переходил в светское звание. Он оставался, подобно многим, на степени амфибия, точнее, на степени эмбриона, зародыша, из которого одинаково может выйти и водное, и земное существо. Такие лица стояли вне обычной служебной лестницы и не имели права ни на какие награды, кроме прибавки жалованья, квартирного пособия или перемещения на высшую кафедру. Высшая администрация петербургская, по крайней мере по словам директора Духовно-учебного управления, сделала даже чуть не законодательный вопрос из представления о награждении Горского. Ходатайство, однако, было уважено, митрополит утешен и с видом необыкновенно полного удовлетворения сказал Горскому, подавая орден: «За твою усердную службу царь жалует тебя дворянином». А ученики и ученики учеников Александра Васильевича, из тех, что облеклись в мундир или рясу, дюжинами уже получили таким путем дворянство и давно обогнали учителя, возвышаясь по служебной лестнице за труды, и количественно и качественно меньшие трудов Горского, при заурядной службе, которая своею государственною пользой даже в отдаленное сравнение не могла идти с заслугами и педагогическими и писательскими знаменитого профессора.

— А у нас не так, — сказал мне покойный граф Д.Н. Блудов с огорчением, — лишнюю бумагу составит, требует особой награды.

Произнесено было это замечание в 1853 году. Мне поручено было тогда разобрать, описать и распределить по учебным заведениям раскольнические книги и рукописи, в числе не одной тысячи экземпляров, хранившиеся в Синодальной библиотеке. На вопрос: «Что же вы за это получите?» — «Ничего», — отвечал я,

удивив графа своим ответом и, в свою очередь, удивившись вопросу. Но после я уже не удивлялся, когда дознал порядки гражданской службы. Не удивился, когда услышал чрез немного лет, как и сам граф подвергся наградной эксплуатации, неслыханной даже на гражданской службе.

— Как это досадно, что это он наделал! — говорил мне А.Н. Попов, известный ученый, об одном своем товарище по службе во II Отделении Собственной Канцелярии Его Величества.

Граф Блудов был тогда главноуправляющим II Отделения, и А.Н. Попов состоял при нем и управлял его домашнею канцелярией.

— Мне нужно было съездить в деревню, — продолжал Попов, — он (называя другого чиновника) должен был знать, что нельзя же графа здесь одного в Москве оставлять. И вообразите, писец, кантонист К., воспользовался добротой графа, составил о себе представление, да какое! О производстве себя прямо в коллежские советники, да и орден на шею (кажется, даже — Владимира), и, наконец, пенсия. Государь из уважения к графу, конечно, утвердил. Но можно ли было допустить до этого, зная бесконечную доброту графа и неспособность его отказывать просьбам?

И долго негодовал Александр Николаевич, и долго не мог уходиться. А я слушал его и вспоминал о Горском и Святославском. Вот один со Владимиром 4-й, другой с Анной 3-й степени, представлявшиеся митрополиту удостоенными наград превыше самых смелых мечтаний. Вспоминал и об А.Ф. Кирьякове, между прочим, содействовавшем мне в описании раскольнических рукописей. Он знал исправно не только древний, но и новогреческий язык, и это послужило ему если не в несчастие, то в значительное бремя. При каждом сношении с восточными патриархами, когда приходилось справляться с древними актами, его запрягали рыться в архиве Министерства иностранных дел, извлекать из документов сведения и переводить их. Ему поручено было и перевести толкование Иоанна Златоуста на целую книгу Нового Завета («Послание к Галатам»). Все это он исполнял, разумеется, беспрекословно, хотя ни переводы, ни архивные разыскания не входили в обязанность профессора семинарии. И за все свои заботы и труды, иногда очень не малые и продолжительные, должен был он довольствоваться ласковым словом и благословением митрополита. Но так нас воспитывали; этот дух Филарета крепок был тогда. Уклоняться от труда, когда предложение его есть честь оказываемая, тем более — торговаться о труде обнаруживало бы бесчестный образ мыслей. Спрашивай о том, полезен ли труд, и

старайся о том, чтоб он принес пользу; находи себе и утешение, и награду в приносимой тобою пользе. Рассуждая иначе, ты негодный наемник и не заслуживаешь ни доверия, ни уважения, да и пользы принести не можешь, потому что не служишь и не способен служить делу. С тем же А.Ф. Кирьяковым был случай даже несколько забавный. Его перевод «Послания к Галатам» был напечатан на синодский счет, а ему, переводчику, даже экземпляра не подарили. Этой черствой невнимательности тоже нельзя одобрить. Но забавно, что переводчик, чтобы поднести митрополиту свой труд в печатном экземпляре, вынужден был его купить и на свой счет переплести!

Лично я зазнал А.П. Святославского только шапочно, и притом когда уже состоял на кафедре. Гладко выбритый, с вежливо ласковым выражением, он низко кланялся всем нам, и старым и молодым педагогам Академии, был предупредителен. Он держал себя не по своему действительному значению, а по табели о рангах и внешнему положению в архиерейском штате.

Глава XLIII
ТОВАРИЩИ

Еще чуть ли не в первый месяц пребывания моего в Семинарии завязалось у меня самым оригинальным образом знакомство с одним учеником, поступившим из другого училища. С поперечной скамьи, на которую первоначально был посажен, задумал я пересесть куда-нибудь и выбрал вторую скамью на той же левой стороне. Почему ее, а не другую? На правую переходить далеко, а первая на левой была занята старыми. Во все два года я и не оставлял левой стороны, садясь то на второй, то на третьей скамье. На первых садиться, выставляться, находил неловким.

Сижу. С обеих сторон незнакомые лица. Во время лекции чувствую, чья-то рука с правой от меня стороны под пюпитром тянется к моей, ищет и кладет в нее бумажку. Поднимаю из-под пюпитра руку, развертываю бумажку и вижу: совершенно пустая. Сидевший направо сосед моего соседа хихикнул; его сосед, сидевший далее, тоже засмеялся. В наступивший свободный час после лекций шутник стал отпускать насчет меня остроты, впрочем, безобидные, задирать меня, обращаясь и лично, без дерзостей и оскорблений, однако. Сколько понимаю теперь, это был бурсацкий способ рекомендовать себя в знакомство. Более умного и более приличного способа малый не придумал. Он был Перервенец, следовательно, круглый сирота и никакого общества кроме бурсачного не видал. Пришлось мне познакомиться невольно; я должен был отзываться, а затем и сам задавать вопросы. Знакомство, так оригинально начавшееся, продолжалось затем во весь семинарский курс. Только Академия нас разлучила; приятель мой и туда за мною последовал, но не выдержал вступительного экзамена.

Да, это был приятель; изо всех соучащихся он был единственный, с которым у меня дошло на «ты». Более ни к кому я не обращался в единственном числе за все десять лет в Семинарии и в Академии. Отчего, сам не постигаю. Были потом истинные друзья, любимые и уважаемые, единомысленные, друзья неразлучные в течение целых шести лет; нас было трое, и мы сами сознавали странность вежливо-холодного обращения при нашей задушевной близости; даже давали друг другу слово обратиться к единственному числу. Но нет, не выходило, и мы бросали, возвращаясь к чинному «вы». А с Перервенцем, навязавшимся мне в знакомство, сошло на «ты» очень скоро;

выходило, наоборот, очень неловко держаться на множественном числе.

Приязнь наступила не вдруг и никогда не была обоюдно полною. Потребовалось более двух лет, чтоб отношения стали теснее. В первые два года я не помню даже ни одного случая, где бы сказалась наша общность; не припомню даже, где он жил, учась в Низшем отделении. Только не в «казне», не в монастырях и не в Остермановом доме, и это меня удивляет теперь: в качестве круглого сироты он должен был состоять на казенном коште; не получал ли он пособие деньгами?

Близость трудно завязывалась, потому что мы замешаны были на разном тесте. Сирота с раннего детства, сын сельского священника, пьяного и буйного, сведшего еще ранее мать в могилу, Перервенец не имел и родных близких, а в тех, которых имел, не возбуждал родственной нежности. Ни память отца, ни личные качества сирот не трогали сердец у двоюродного дяди или двоюродной сестры. У тех свои семьи; в пору на них расходовать чувства. Отданы ребята в бурсу. Их было четверо; старший скоро вывалился и поступил писцом не то в Сиротский суд, не то в Управу благочиния, но и там не удержался. Второй к моему времени дошел до Среднего отделения семинарии, поступил отсюда в Медицинскую академию, но почти тотчас женился на швее, мещанке какой-то во всяком случае, да еще с семьей, которая села на шею зятю, или он ей — кто разберет? Но нищета вынудила бросить Академию и поступить на службу тоже писцом куда-то. Третий, ленивый и неспособный к ученью малый, засиделся в училище, дав обогнать себя четвертому, моему приятелю. Приятель мой был из первых на Перерве, не выходил из числа лучших и в Семинарии. Но самопомощь, в которую бросила его судьба при столь неблагоприятной обстановке, не могла воспитать в нем идеалов. Привычки и потребности были грубы. Рюмка и даже публичный дом рано были ему знакомы, не возбуждая отвращения; напротив, в том и другом виделась ему, со многими другими, удаль, которою он хвалился. Без отвращения, напротив, с восхищением об изворотливости, передавал он о слышанных им каких-нибудь небывалых проделках мошенничества. Что общего могло быть с ним у меня? Наряду со всеми я выслушивал его рассказы о похождениях, часто очень грязных, в которых он бывал иногда главным, иногда второстепенным участником. Он умел рассказывать живо, не лишен бывал остроумия и лицедейственной способности; как душу общества его приглашали некоторые из соучеников к себе даже в дом к родителям; у некоторых он гащивал.

Он учился, он и читал; те же обстоятельства ограничили,

однако, чтение его Поль де Коком и литературой Толкучки. Когда мы бывали в трактире, он не бросался подобно мне на журналы; любознательность его в этом отношении была ниже даже, нежели у Добронравова, моего клиента, и чуть не ниже, нежели у Лаврова. Он охотнее отправлялся, пока я читаю книгу, в биллиардную посмотреть тамошний бой игроков. Но о содержании классных уроков мы иногда разговаривали, передавали друг другу недоумения и разрешали их. Больше, впрочем, наши отношения вращались в практической сфере: купить где что, где чего достать, на это он был хороший советник.

При казенном пособии Перервенец, так буду называть его, питался перепиской лекций; проживал на уроке сначала у своего родственника дьякона, а потом у постороннего протоиерея. Живал и на квартирах, и, между прочим, у своего брата, который, колотясь, придумывал разные способы прокормить семью, в том числе пусканье нахлебников. Перервенец приглашал меня к себе в гости, между прочим, и посмотреть Наташу, свояченицу (жену брата), за которою он ухаживал и которая будто бы тоже была неравнодушна к нему; а она красавица. И был я, и видел; действительно, пышная, красивая женщина, и сердце мое сжалось. Цель ухаживания, понятно, была самая грязная; у приятеля был низкий замысел, между прочим, поймать свояченицу врасплох, даже подпоить ее. Я пытался представить ему всю гадость поступка, но говорил стене. «Не я, так другой», — отвечал он. Влияния не имел я на него; он был и старше меня, и опытнее во всем. Во взаимном положении нашем мужеский элемент, деятельный, был за ним; за мною — женственный, пассивный. Если б я не предохранен был всем внешним прошлым и внутренним самовоспитанием, скорее могло случиться, что я бы низвергся в бездну, увлеченный приятелем.

Охотнее навещал я его, когда он квартировал у общего нашего товарища в доме князя Белосельского-Белозерского, на Тверской (дом Малкиеля потом, теперь Носовых). Во флигеле жил управляющий домом, дворовый человек. Розанов, товарищ наш, — сын священника из села, принадлежавшего Белосельским-Белозерским, — получал от управляющего комнату, в которой одно время жил и Перервенец. С восторгом передавал он мне о спокойном, уютном, совершенно отдельном уголке, на который он напал; об удобстве заниматься, о независимости положения: не то, что на людях, в чужом доме на уроке. А главное — предлагал он мне послушать игрока на гитаре, необыкновенно искусного, по его словам, приводящего в восторг; он сам ради этого начал учиться на гитаре и даже купил подержанный инструмент, заплатив с чем-то рубль. Отправился я, был и раз, и два, и

больше: просиживал по часам. Комната действительно особенная, хотя не отдельная, менее грязная, нежели в Коломенской бурсе иль Богоявленском общежитии, удушливая, однако, до нестерпимости. Зато была гитара, на которой я и сам начал учиться. Знаменитый игрок оказался исключенный из семинарии прохвост, лет двадцати, прокармливавшийся игрой на биллиарде в трактирах, а может быть, чем и еще хуже. Играл он недурно действительно, сколько могу помнить. В ходу была тогда «Аскольдова могила», и Перервенец перенял от него, а я от Перервенца «Ах, подруженьки», «Уж как веет ветерок» и «Близко города Славянска». Душа моя питалась несколько, но впечатление все-таки омрачалось. Для игрока-учителя требовалось угощение; бутылки с пивом, даже полштоф с зеленым являлись к услугам. Участия в попойках я не принимал; положение бывало стеснительно, и я уходил, предпочитая визиты, которые не вели ни к встрече с биллиардною знаменитостью, ни с полштофом.

Уроки на гитаре и смотр Наташе относились ко времени пребывания моего в Среднем отделении Семинарии. К тому же времени относится и начало знакомства с Алексеем Алексеевичем Остроумовым. Впрочем, этим классом близкое знакомство и кончилось, а установилось оно чрез соседство по ученической скамье: мы сидели рядом, уже на первой скамье теперь, которой в Среднем отделении я не обегал. А.А. Остроумов вместе с братом Василием Алексеевичем был тоже круглый сирота. Когда еще был я в Низшем отделении, два эти брата поражали меня своим сходством; я их не отличал, хотя они были не близнецы; В(асилий) Алекс(еевич) был старше, должно быть одним годом, и был уже в Среднем отделении, когда Алексей был в Низшем, только не в том, где я учился, а в параллельном. Присмотревшись после, по переходе в Среднее отделение, я даже удивлялся, что принимал их за двойников. Но было что-то, дававшее смешивать их, или точнее — не было чего-нибудь, по чему посторонний глаз, и мой в частности, на первый раз отличает одну фигуру от другой. Японцы и китайцы европейцу на первый раз представляются все на одно лицо; вероятно, и европейцы тоже японцу или китайцу, если не выдает рост или резко отличный цвет волос. Глазом, по крайней мере моим, должно быть, схватывается прежде всего общий тип, а к подробным чертам внимание обращается позднее.

А.А. Остроумов был юноша вполне приличный и в одежде, и в приемах; на лице не лежало ни пошлости, ни той печати, отличавшей семинарские подонки, которая по первому взгляду внушает сомнение; полпивная или мастерская чаще всего выдают носителя физиономии. В цилиндре, в опрятном сюртуке, в столь

же опрятной шинели, он имел вид джентльмена. Как много значит общество, среди которого вырастает дитя! Оба брата жили у опекуна, московского священника, и у того же священника проживал студент или кандидат первого курса Московской академии, один из неудачников, почему-то не нашедший должности и приютившийся у товарища-священника. Должно быть, зеленовино расстроило карьеру ученого мужа, фамилии которого не помню. Но простое трение о развитую личность положило совсем другую от товарищей печать и на братьев-питомцев. Не Поль де Кок и литература Толкучки были чтением Остроумова: он знал русских поэтов, ощущал их красоты и многое из них изучил наизусть. Выдающимся его мастерством было умение читать, чему помогал, между прочим, и прекрасный баритон, способный к самым нежным переливам. Он так мастерски читал, так осмысленно, что записан был первым по истории в Среднем отделении, подобно Солнцеву в Низшем. Это не диво, но диво то, что я, не чувствительный к стихам вообще и не способный их заучивать, знаю некоторые стихотворения наизусть доселе, после того как прослушал чтение Остороумова. Можно отсюда видеть, что это был огромный талант и, конечно, пропавший; почтенный Алексей Алексеевич теперь священствует, да и притом в таком приходе, где живой декламации прямо смерть — в единоверческом. А я млел, заслушивались и другие, когда он читывал, наизусть разумеется, Пушкина, мелкие стихотворения и целые главы. Такую силу дать каждому слову, так глубоко захватить каждый оттенок, каждую мелкую черту! Раз чем-то возбудил неудовольствие целого класса, и Остроумова в частности, один поступок воспитанника, прозванного Шишигой; не помню поступка, но он признан был неблагородным. Остороумов сказал экспромптом речь Шишиге. Я таял от восторга: это истинное красноречие, достойное Демосфена. Откуда взялись выражения, сравнения и при всем этом удивительная декламация, в самую душу проникающая! Такую декламацию я слышал только два раза в жизни; подобное впечатление я испытал еще, когда слушал Щепкина, читавшего сцены из «Скупого рыцаря».

В старые, Платоновские, времена к декламации приучали в семинариях. Сам Платон был мастер в произношении; таковым же был Августин; заботились о силе произношения вообще вышедшие из Платоновой школы. С поступлением Филарета декламация кончилась. Сам он был безголосый; читал он прекрасно, давал силу словам, но слабо и ровно. Платоновские питомцы, правда, впадали в преувеличение и за внешним эффектом гонялись иногда в ущерб внутренней силе. Парфений

(скончавшийся архиепископом Воронежским) служил образцом этой погони за шумихой. Его проповеди бедны мыслями и чувствами, но богаты восклицаниями; видишь, что проповедник бьет на произношение и на нем основывает успех. Филарет был враг шумихи и лишних слов; внешний эффект и подобие сцены в церкви тем более возмущали его. Отсюда преувеличение в противоположную сторону. Как Платоновы питомцы служили и проповедовали громогласно, так Филаретовские стали служить под нос, читком произносить проповеди и притом до того тихо, что около стоящие не могли слышать. А восстановление декламации и обучение ей необходимы; стоило бы особенные уроки назначить для того. В Платоновские времена посылали академиков к лучшим театральным артистам на обучение; до моего времени сохранился дьякон, друг Мочалова, сведший дружбу со знаменитым артистом именно ради проповедей и проповедями потрясавший слушателей, собиравший публику в церковь. Проповедями, увы, чужими, из которых выбирал он опять те, которые были потеатральнее; но из того не следует, чтобы собственные проповеди произносились вполголоса и читком.

Искусство чтения есть искусство не малое и не легкое, а чтение в церкви, тем паче проповедание, требует и тем более искусства, что две опасности предстоят одинаково — бессмысленности и профанации. Бывали декламаторы и в последние, Филаретовские, времена, но я уходил из церкви смущенный. Между прочим, Леонид покойный, бывший викарием, грешил излишеством. Была утреня под Великую пятницу; страстные Евангелия читал преосвященный сам, но так театрально, что верующему чувству становилось больно. Да еще преосвященный ничего, а сказывали мне, что один иерей читал те же Евангелия даже разными голосами. Передавая слова служанки Петру, он пискливым голосом произносил: «И ты был еси со Иисусом Назарянином?» И затем возглашал низким басом: «Ни». Чтение Евангелия обращал таким образом в пародию, в передразниванье.

Чтение священных книг в церкви должно передать смысл читаемого, предоставляя возбуждение чувств настроению самих слушателей, которое может быть скорбное и радостное, просительное и благодарственное, смотря по обстоятельствам. А произношением проповеди не довольно отчеканить смысл, потому что проповедь не есть ни священный текст, ни диссертация. Это различие должны не только знать священнослужители, но и должны уметь соблюдать. А уменье может быть дано только наукой и упражнением.

Раз А.А. Остроумов зазвал меня к себе для того, чтобы познакомить со своим ученым сожителем. Был я, отобедал и побеседовал. Передавал потом Остроумов, что и я оставил недурное впечатление. А меня так просто приподняло; это был первый случай, что с лицом академического образования я говорил, как с равным. Разговор вертелся более на исторических темах; я излагал свои догадки, он подтверждал их или исправлял. Касались литературы; обмен мыслей и по этой отрасли знаний освежил меня. Приостановка карьеры ученого мужа оказалась для меня на этот раз счастием. Епархиальная служба обыкновенно затирает в магистрах и кандидатах печать образования. Многое вылетает, ко многому сердце охладевает; практические заботы, механическое требоисправление, механическое законоучительство вытрясают живые семена. Красноречиво признание одного магистра-священника: «Ну, батюшка, я даже и читать почти разучился; книги не было в руках двадцать лет». Но сожитель Остроумова, хотя и в летах человек, был как сейчас со школьной скамьи; умственные интересы сохранились и тем живее ощущались, чем менее было посторонних развлечений и чем более мог он поддерживать их продолжающимся чтением. «Вот откуда, — подумал я, идя из-за Сухаревой башни под Девичий, — у Алексея Алексеевича такая любовь к Пушкину и такое чутье к его красотам!»

В Богословском классе мы разошлись с Остроумовым, оттого что сели на разных скамьях. Здесь другой товарищ-сосед стал ближайшим, Николай Алексеевич Р. Жив ли он? В одной зале мы слушали с ним и лекции Философского класса, но в два года друг другу даже не поклонились. Сидел он на противоположной стороне, и встретиться поближе случая не приходило. Какое-то несчастное происшествие было причиной, что его оставили в Философском классе на повторный курс, так что при переходе моем в Среднее отделение я нашел его там «старым». Но он был не из малоуспешных; происшествие, оставившее его старым, относилось к поведению, а не к успехам. Что такое натворил он? Никогда я его не расспрашивал, и он не упоминал. Виной было непременно недоразумение; это был молодой человек серьезный и с самообладанием. Вышло почему-то, что я облюбовал по переходе в Богословский класс место на второй скамейке между ним и И.П. Сокольским, басом и солистом семинарского хора. Сокольский был добрый малый, исправный ученик, но не хвативший звезд и не порывавшийся далеко. Но у Р. мыслительная машина была в усиленном ходу, и я с ним по сердцу беседовал, передавая ему свои недоумения и духовные боли при слушании Богословского курса и получая от него

таковые же. Сообща мы обсуживали, спорили, успокоивались; вместе обыкновенно готовились и к экзамену. О существе наших недоумений и совещаний сказать будет время; ограничусь пока только внешними отношениями.

Николай Алексеевич был старшим Богоявленского общежития, и я навещал его, пред экзаменом даже ночевал. Он был старше меня летами, вероятно года на три. Старшинство возраста вместе со старшинством по общежитию придавало ему сановитость. Он держал себя не только как взрослый, но как пожилой человек. Дурачеств ни себе не позволял, ни в других ими не любовался. Удаль не была для него идеалом, как для Перервенца. Он не прочь был выпить рюмку, но не для того, чтобы напиваться, и кутеж был не по его природе. Поэтому мы с ним в трактир не хаживали; чай он пил у себя дома, в комнатке, которую в качестве старшего занимал в общежитии отдельно от подвластных ребят. Но был случай, он зазвал меня, и притом в грязный трактир, для того, чтобы посвятить меня во «взрослого». Это был трактир на Трубной площади, помню, Соколовского. Мы вошли, играл орган; кроме посетителей мужского пола сидели и расхаживали девицы. Николай Алексеевич провел меня в особенную комнату и здесь, пока мы сидели за чаем, велел позвать «Пелагею», представил ей меня и мне ее, поручая нас взаимному вниманию. Это был первый раз в жизни, но он же был и последний, что я видел вблизи особу такого сорта. Р. рекомендовал ее как выделяющуюся из других своею степенностию; из его слов я понял, что он смотрел на нее как на ремесленницу, не отличая ремесла ее от других ремесл. Меня это поразило и в степенном Николае Алексеевиче удивляет до сих пор. Но вот чего я не могу себе простить до сих пор — малодушия, с которым я отговорился от предлагаемого знакомства, приведя не помню какую причину, но не отвращение, которое в действительности отталкивало меня. И в отношении к Р. я все-таки оставался женственным элементом, несмотря на свое умственное превосходство, которого вдобавок Р. во мне и не отрицал. Может быть, впрочем, и он дал бы мне то же объяснение, что Перервенец о Наташе?

Мужественный и женственный элемент! От одного замечательного русского ученого слышал я замечание, что сочетание полов под разными видами и именованиями проходит по всему мирозданию: не только в животном и растительном царстве, но и в химических процессах и механическом движении светил формула все та же одна везде, говорил он, поясняя этот закон опытами и математическими выкладками. Глубоко мне врезалось это замечание; полное развитие его в научном

изложении должно бы составить эпоху и поставить нашего ученого в ряд с Секки, если не выше. Но не в том дело. С кем я ни соприкасался в жизни, везде со мною оставалась женственная, пассивная роль. Я занимал кафедру и пользовался редким вниманием слушателей; я увлекал; затаив дыхание, мне внимали. (Надеюсь, бывшие слушатели мои не отвергнут этого и не уличат в неосновательном самохвальстве). Но я не породил и не воспитал учеников. На каких дальнейших поприщах я ни стоял, никогда, почти никогда не давалось мне руководительство, на которое, впрочем, никогда не хватало у меня и дерзновения. Препятствия не останавливали моей деятельности, но вгоняли внутрь. Чем порождена не отступавшая ни на минуту гамлетовщина, недоверие к своей силе, сомнение в своем нравственном праве, вечное опасение переступить предел чужой свободы? Не бесплодно ли после того, может быть, и пройдена жизнь?

Были у меня и еще товарищи, наиболее близкие, наиболее родственные по духу. Нас было трое, об этом сказал я выше. Но та близость была другого строя, не семинарская, и сошлись мы, строго говоря, не в Семинарии. Богословский класс послужил только началом, хотя с одним из троих, В. М. Сперанским, началось знакомство еще с Риторики, и сидел он в том же втором отделении Риторического класса, что и я. Его уже и нет теперь на свете, и его высокий, чистый образ заслуживал бы подробного изложения в особенном обстоятельном очерке. Дойдет ли, однако, до него когда-нибудь перо в этих набросках?

Глава XLIV
СОСТАВ УЧАЩИХСЯ

Лавров, Перервенец, Остроумов, Николай Алексеевич — это не все типы семинаристов моего времени. Остроумов даже не тип, он случайность. У каждого из поименованных была своя особенность, выдвигавшая его туда или сюда. Большинство было безличнее: вели себя исправно, неупустительно посещали классы, держали в порядке тетрадки, учили уроки, подавали письменные упражнения, вдаль не заносились. Перейдя в Богословский класс, подумывали о местах. К чести московских семинаристов, водка не считалась поэзией жизни, как в других семинариях. Бурсацкая удаль Перервенца, граничащая с развратом в одну сторону, мошенничеством в другую, шла от закрытого училища, в котором он получил воспитание, и от сиротства, которое оставило его без добрых примеров. Главный контингент семинаристов, если не по числу, то по весу, растворен был в обществе, сидел корнями в семье. Нравственная воспитательная сила сосредоточивалась в священнослужительском мире, и притом столичном. Поповичи задавали тон, приучали к благопристойности, в которой дома воспитаны, и к чувству нравственного достоинства. Повествование о грязных похождениях, которые в других семинариях составили бы эпопею, здесь или не находило слушателей, или выслушивалось с пренебрежительным смехом, каким награждают паяцев. Небольшой кружок собирался около рассказчика, да и тот состоял из отребья: знаменательная черта, которую не мешает иметь в виду при рассуждениях о сравнительном достоинстве закрытого и открытого воспитания, именно в духовно-учебных заведениях! Важен факт не сам по себе, закрытое или открытое заведение; важно то, каков дух в нем, откуда он идет и чем питается. Московская семинария отличалась среди всех духом порядочности и относительного благородства. Разумею все семинарии великороссийские и малороссийские, не исключая Петербургской; петербургское столичное духовенство малочисленнее московского и от себя мало вливало в семинарию, распихивая детей более по другим заведениям. О семинариях Западного края не говорю: сколько видел я тамошних воспитанников, они более всех приближались к московским и менее прочих носили бурсацкую печать.

Превосходство Московской семинарии, сейчас упомянутое, отзывалось потом даже в Академии. «Москвич» — это был особый тип среди академических студентов, отличный от общего

бурсачного, и, замечательная вещь, он не ограничивался наружностию или поведением, а оставлял свои след в учебных успехах. Во все тридцать лет от начала Академии и до того времени, как я поступил в нее и ее прошел, первенство по успехам оставалось преимущественно за москвичами, иногда за вифанцами и редко за студентами других семинарий. Не помню твердо первых четырех курсов; из первого, во всяком случае, вышел первенцем москвич, Делицын; начиная же с V курса до XVII москвичи были первенцами в семи, в трех вифанцы и только в трех воспитанники всех остальных семинарий; а вплоть до XV курса к Московской академии приписаны были целые два учебные округа с своими семинариями! Это умственное превозможение не ограничивалось поставкой первых магистров. В XIII курсе и первый, и второй, и третий магистры были москвичи, в XVI — первый и второй; не знаю, был ли хотя один курс, в котором бы не оканчивало одного или даже двоих москвичей в первом пятке, хотя бы первый магистр был и не из московских. Откуда это? Не от пристрастия; списки студентов составлялись, за весьма немногими исключениями, строго. Не от семинарского преподавания. Хотя в Московскую семинарию и назначали профессоров из лучших студентов, но я показал в одной из предыдущих глав, каков был уровень преподавания. Успех условливался приготовительным развитием во всяком случае. Бесспорно, из других семинарий поступали дарования, может быть, даже более сильные; климат не мог иметь своим последствием, чтобы в московском духовенстве родились более способные дети, нежели в остальных двадцати с лишком губерниях. Поступали из других губерний бесспорно даже лучше подготовленные в школьном смысле; ведь отовсюду присылаемы были первые, а курс учебный повсюду был тот же. Но кроме школьной подготовки была другая, жизненная; кроме умственной выправки — другая, духовная; кроме образования — культура. Академия и семья — вот два деятеля, близость которых давала москвичу и вифанцу (одному в более сильной, другому в слабейшей степени) высшую культуру сравнительно с калужцем или пензенцем. Точки зрения иные, кругозор шире, нравственный подъем и выше, и глубже; а все это не могло не отзываться и на прохождении курса семинарского и академического. Были деятели недюжинные и в науке, и в литературе из воспитанников Московской академии, не удостоенные от нее магистерской степени; назову некоторых: Билярский, Иринарх Введенский, Вукол Ундольский. Академию, казалось бы, можно упрекнуть за несправедливость, невнимательность. Я иначе объясняю: то развитие, та культура, которые на студенческой скамье вручали

первенство другим, приобретены поименованными позднее, а задатки были богаче, нежели у их сверстников-магистров, которых развитие, может быть, даже и остановилось с окончанием академического курса, когда у тех, напротив, продолжалось и росло.

В грязных кутежах, сказал я, московский семинарист не находил поэзии. Большинство зато не искало и никакой поэзии; как бы только перейти в следующий класс, а затем кончить курс, вне же класса — добыть кусок, если нет готового в казне или в родительском доме. Посторонними средствами пропитания были: 1) уроки, 2) переписка и 3) работа голосом. Немногие были столь счастливы, чтобы находить, подобно Лаврову, амбулаторные уроки и получать поурочную плату. Большею частию садились в дом на хлебы у какого-нибудь священника или даже дьячка, с обязанностью проходить с парнишкой училищный курс или помогать при прохождении Риторического; плата, кроме стола и помещения, простиралась от пяти до десяти рублей в месяц (ассигнациями). Переписка производилась в обширных размерах. Одних агентов вроде Лаврова было, думаю, до десятка; материалами снабжал университет (переписывались и лекции, и диссертации); снабжали и присутственные места. Цены были разные, соображенные и с количеством, и с качеством работы. Перервенец получал лишний против других заработок за красивый почерк; ему давали и материал более ценный, вроде докладных записок. Бывали работы, хотя соединенные с перепиской, но требовавшие не одного механического труда; тот же Перервенец трудился в Архиве над извлечением материалов для Гастева, издававшего исторические и статистические сведения о Москве.

Голосом работавшие большею частию были отпетый народ; зачислялись в частный хор и шлялись по халтурам, смотрели вон из семинарии. Ради похорон и свадеб пропускались и классы. Исключение составляли певчие семинарского хора; у них тоже были халтуры, нанимали их и на обедни, и на всенощные, и на свадьбы; хор имел и годовые заподряженные места; но певчие не принадлежали к отбросу, по крайней мере не все принадлежали. Вообще же певчий слыл пьяницей: если не все пристращались к напиткам, то не было ни одного не пьющего, по странному антигигиеническому предрассудку, что певчему неизбежно «прочищать голос», особенно басу. Откуда взялось это глупое предание и в силу чего укрепилось?

Голос для семинариста был капитал, и именно бас. Хорошие тенора вообще редки, да ими и не дорожили; кроме певческого хора куда же с ним? Другое дело бас; с ним при посредственном

аттестате можно получить дьяконское место в самой Москве или даже протодьяконское; даже курса не нужно оканчивать, чтобы получить место, в собор например. Оттого шестнадцатилетние и даже пятнадцатилетние мальчуганы старались «накрикивать» себе басы. Если для развлечения философ или даже ритор возглашает Апостол (это случалось иногда даже в классной зале в свободные часы), подражая чтению в церкви, то возглашает непременно басом, и чаще всего свадебный Апостол, чтобы дать почувствовать силу окончательных слов: «А жена да боится своего мужа»; «своего мужа» есть динамометр горла.

Учился со мною сын успенского протодьякона, знаменитого Александра Антоновича. Учился хотя посредственно, но не так, однако, чтоб угодить на исключение. Голоса не было у него никакого; речь глухая, беззвучная, горло будто обложено бархатом. Некоторые удивлялись, что у голосистого отца такой безголосый сын, и сам Зиновьев, видимо, скорбел об отсутствии отцовского дара. «А мне кажется, — возражал я, — наоборот; эта безголосица и предвещает голос; смотрите, откроется басина не хуже отцовского». — «Нет, уж этого не будет, — отзывался с отчаянием протодьяконский сын; — горло у меня, должно быть, застужено». Предсказание мое сбылось. По переводе в Среднее отделение голос у Зиновьева, по народному выражению, стал «ломаться»; речь начала издавать двоящиеся и троящиеся звуки, в которых безтонная сипота соперничала с тонами низкими и высокими, выходившими вперемежку и даже одновременно. Голос очистился и затем образовался бас, — не берусь судить, равный ли отцовскому, но сильный и приятный. Ожил парень. Он носился со своим кладом; с таким лицом, воображаю, ходят в первые дни выигравшие 200 000 по лотерейному билету. Куда тут уроки, куда обдумыванья тем на письменные упражнения? В рекреационные часы между классами то и дело слышишь или густое «Благочестивейшему, Самодержавнейшему…», или громогласное «Да боится своего мужа», а не то «Иисус Христом бысть». Последняя фраза есть конец пасхального Евангелия, и Зиновьев объяснял, что она есть труднейшее изо всех окончаний во всех евангельских чтениях: сверхъестественным искусством нужно обладать, чтобы, подняв голос на высшую ноту диапазона, произнести бысть, а не басть. — Что же? Зиновьев и исчез скоро; исчез и погиб; погиб, между прочим, именно от этого дьявольского предрассудка, что необходимо прочищать голос.

Есть, однако, были по крайней мере, элементы для разумного певческого воспитания, которого до сих пор недостает России, в частности духовенству. Можно было бы воспользоваться самым этим басолюбием, взять его в руки, поднять цену другим голосам,

возбудить соревнование, развить вкус и искусство.

Нас окончило курс девяносто человек ровно или с небольшим, а в Низшем отделении было до трехсот, если не более; две трети отошло. Отваливались или особенно бойкие, или совсем негодные, невозможные. Впрочем, со мною даже окончил курс совсем невозможный. Аттестованный семинарским начальством «со странностями в характере», Иван Михайлович был, по нынешнему вежливому выражению, душевнобольной человек. Он был казеннокоштный. С наружностью орангутанга, не высокий ростом, он держал себя и расхаживал важно в длиннополом казенном сюртуке синего сукна, с чувством самодовольной уверенности размахивая руками. Он приносил в класс и прочитывал вслух товарищам свои литературные произведения, повести и драмы, которые пек как блины. Что это были за произведения! В них было все, кроме смысла. Был и смысл, но только грамматический, а далее никакая пифия не разобрала бы; слова безо всякой, даже кажущейся связи; действия невозможные, имена неслыханные. И, однако, дотянул и окончил курс! Товарищи над ним издевались, приставали к нему, дразнили, расхваливали на смех его писания, поощряли к ним, и он не шутя сердился и не шутя гордился. Дергали его за полы во время чтения, поставив его предварительно на стол. Он оборачивался туда и сюда к пристававшим, огрызался; но и успокоивался тотчас, когда дразнившие выражали удивление необыкновенным творческим способностям автора. Это было гадкое зрелище, и мы удалялись с Николаем Алексеевичем, жалея несчастного и негодуя на бессердечность издевавшихся. Но аттестат о полном окончании курса в руках субъекта с такими «странностями в характере» остается фактом, характеризующим семинарское воспитание. Куда делся Иван Михайлович? Какой несчастный приходлолучил его в пастыри? И нашлась невеста, и народились, конечно, дети… Мы с Николаем Алексеевичем рассуждали, что единственная дорога ему была бы в послушники.

В обоих младших отделениях, Низшем и Среднем, скоро означался отстой. Он рано повадился ходить по полпивным и биллиардным, уроков не учил; когда спрашивали, пробивался подсказами; на экзаменах предлагал вместо ответа молчание. Иногда олух не довольствовался этим, но, возвращаясь от экзаменационного стола, делал рожу в направлении экзаменаторов, хотя и невидимо для них, как бы говоря: «Что, много взяли?» Ах, помню я сцену, глубоко потрясшую класс! Экзаменовавший ректор (Иосиф) заметил это нахальное движение. Ученик был казеннокоштный. Ректор позвал его к столу и произнес ему речь, начинавшуюся словами: «Чему ты

смеешься? над чем ты смеешься?» Напомнил ему о потрачиваемых на него деньгах, о заботах, на него простираемых, и о его неблагодарности, сопровождаемой притом такою оскорбительною непочтительностью к присутствующим, и к начальству, и к товарищам. Олицетворил ему настроение товарищей, с каким они должны смотреть на его кривлянье, только ему кажущееся забавным, и ничего ни от кого для него не влекущее, кроме тем более усиленного презрения к нему же самому ото всех. Ректор говорил долго, говорил мягко, говорил с дрожанием в голосе. Еще немного, и класс бы расплакался. А получавший внушение стоял, нагнув голову несколько набок с глупейшим видом, желавшим изобразить раскаяние, но не выражавшим ничего, кроме досады, что так долго держат у стола.

Эти подонки семинарские большею частию были из сельских захребетников, иногда же дети и московских дьячков, не видавшие доброго примера и в семействе, принимаемые к собутыльничеству самими родителями. Семейная жизнь с хозяйственными заботами, может быть, исправляла некоторых по поступлении во дьячки; вырабатывался практический человек; семинарская беспорядочность оказывалась временным угаром молодости.

Не весь отстой, однако, шел в дьячки. Часть поступала на гражданскую службу, умножая собою крапивное семя, именно дети священников и дьяконов; не знаю даже случая, чтобы кто-нибудь из привилегированных по рождению, каковыми были священнослужительские дети, добровольно обращался в бесправное состояние причетников. Сыновья даже причетников только при безысходной нужде и совершенной неспособности к науке решались надеть причетнический стихарь. Не говоря о Философском классе, откуда исключенному, хотя бы сыну дьячка, открывалась дорога в сельские и уездные дьяконы, даже для уволенных из Риторики был выход помимо причетничества: ветеринарный институт. Экзамен был легкий, сведений особых не требовалось. Я знаю нескольких исключенных из Риторики дьячковских детей, которые таким путем вышли из распутия, оставлявшего им на выбор идти или в мещане, или по примеру отца в причетники.

Резко выделялась из безличной массы другая половина, состоявшая преимущественно из поповичей. Не все могли похвалиться успехами и прилежанием; были балбесы, но все отличались одеждой и обращением; все читали более или менее, посещали театр, ездили в клубы на балы. Сравнительно немногие готовят себя к духовному званию; борода им претит, как и большинству их сестриц. Если не в университет, то в

гражданскую службу. У меня был товарищ, который еще с Низшего отделения носил цилиндр и перчатки; летом являлся в гарусном сюртучке, а зимой в норковой шубе, надетой на одно плечо; он сбрасывал с себя шубу с видом господина, который уверен, что за ним стоит лакей. Его батюшка, вероятно, любовался изящными манерами сынка, ловко копировавшего приказчиков Кузнецкого Моста, и даже отвечавшего на вопрос, где купил перчатки или помаду, безукоризненным французским выговором: au Pont des Marechaux [13]. Щеголь скрылся из Среднего отделения, приютившись в какой-то из губернских палат.

В университет начинали выбывать с первого курса Философии пред переходом на второй. В мое время вышли так рано, помнится, только двое, дети тоже московских священников, не замедлившие осенью явиться к нам показать себя в синем воротнике.

Неохота московских поповичей идти в духовное звание шла после меня все в гору, начавшись еще ранее. В мое время не брезгали по крайней мере семинарией. Пример С.М. Соловьева, которого отец, законоучитель Коммерческого училища, отдал с самого начала в гимназию, передаваем был как соблазнительная новость, как ересь. Но потом, особенно в последнее время, дети-гимназисты отца-священника стали не редкостью. Прибегают к заблаговременному извержению детей из духовного звания главным, если не единственным, образом священники столичные; а со введением гимназий по уездным городам будут туда отливать и дети уездного духовенства, между прочим, по тому расчету, что воспитание производится на родительских глазах, притом не потребует лишних издержек на квартиру, неизбежных при отдаче сына в столичную семинарию.

Будущих студентов университета и медиков можно было узнать заранее; чаще других видишь их с книгой в руках не учебного содержания, преимущественно с журналом. Они интересуются литературными новостями. Театральный раек видит их в числе частых посетителей; они говорят о Мочалове и Санковской. А иной сидит с учебником математики, этим наиболее опасным подводным камнем для семинариста.

Умолчу ли об отпрысках семинарии в артистическом и литературном мире? Владиславлев, известный оперный певец, был сын московского священника, выскочивший из семинарии до окончания курса. Несчастный отец пострадал за него: Филарет поставил родителю в вину, что сын поступил на сцену. Другого помню, тоже вышедшего на сцену из Среднего отделения (Славина), но то был не певец, а трагик (разумеется, только

воображал себя трагиком). Далее дебюта он, кажется, не пошел, но пописывал зато повестушки, узревавшие свет на Толкучке. Они были градусом выше повестей Александра Анфимовича Орлова, известного тогда кропателя по заказу Никольских издателей, но между семинаристами, товарищами автора по школе, производили эффект: писатель хрий, не далее как вчера сидевший на этой скамье, обратился в сочинителя, которого произведения печатаются! Надобно отдать справедливость, лучшие из семинаристов посмеивались над этим бумагомаранием, не придавая ему цены.

Не будем следить за дальнейшею судьбой выходцев из сословия, — какая окончательная судьба постигла скороспелого литератора или на чем оканчивали нырнувшие в гражданскую службу. Доходили до столоначальника, экзекутора, а благословит Бог, и до приходорасходчика. Сколотит деньжонок доходцами, более грешными, нежели безгрешными; иной женится, купит домок и будет коротать век, досиживая геморрой после канцелярского стола за карточным столом. Отсед, поступавший в дьячки, иногда выхаживался, как я уже сказал; но замечательная черта: наружная цивилизация чрез семинарию и тут оказывала действие. Если попович, гнушаясь бородой, бежал из духовного звания, то причетнический сын, поступая в причетники, просто не заращивал бороды, продолжая бриться. Почти на моих глазах совершился у дьячков постепенный переход от пучков на голове до щегольской прически и от длинного сюртука без разреза назади до фрака. В мое малолетство пучок был почти общею принадлежностью причетника, именно пучок, а не коса. Священник и дьякон распускали косу, а причетник и в церкви оставался с заплетенною, свернутою пучком. Благочинным одно время был в Коломне протоиерей Петр Софроныч (Горский), который строго следил за соблюдением прадедовского обычая. Он будет таскать за вихры, морить на коленах в церкви, замучит земными поклонами, если бы нашелся дерзкий, бреющий бороду, стригущий волосы, да притом в сюртуке только до колен. В силу какого указа так действовали старые благочинные? Не вменяется ли им инструкцией следить за дьячковскими волосами и длиннополыми сюртуками? В таком случае благочинные скоро развратились. Придираться к волосам и одежде стало постыдным. Уволили себя благочинные и еще от обязанности, которая, однако, несомненно предписывается им инструкцией. Инструкция велит благочинному при посещении церквей экзаменовать причетников из чтения, пения, Катехизиса и Церковного устава, и в малолетство мое тот же Петр Софроныч свято исполнял эту обязанность. Подходит, бывало, время визитации; смотришь,

сидит дьячок Федот или пономарь Андреич, один за Катехизисом, долбит, другой за Октоихом. Несчастный именно долбит Катехизис. Заслуженный, почти старик, имеющий взрослых сыновей, становится на время двойником своего малолетнего Ванюшки или Петрушки и воспроизводит на колокольне то самое, что его сынишка за партой. Этот обычай вывелся сам собою вместе с распространением более человеческого обращения вообще с дьячками; свой брат-благочинный засмеет не в меру точного исполнителя инструкции. Познания дьячков, правда, одновременно с тем не повысились, если не считать так называемых псаломщиков, то есть причетников из окончивших курс. Попадаются, однако, и до сих пор из благочинных охотники производить экзамен. В Нижегородской епархии по крайней мере, я слышал, был в самое последнее время, если не подвизается доселе, экзаменатор-благочинный, которого трепещут причетники. Впрочем, у ревностного благочинного умысел другой: от экзамена можно откупиться; дух века коснулся и инструкций благочинным! Но один причетник, говорят, умудрился освободиться от экзамена и более дешевым способом. Не дав еще отцу благочинному предложить вопроса, хитрец сам предлагает ему свое недоумение.

— Не знаю, как править в таком-то случае, по Благовещенской ли или по Храмовой главе. Не оставьте, ваше высокопреподобие, научите.

А его высокопреподобие сам нетвердо знает устав. Приходится отправляться в книгу и справками разрешать недоумение, не без возражений со стороны причетника. За экзаменами уже не погнался строгий благочинный. Петр Софроныч в Коломне поступал проще: он и экзаменовал-то, держа книгу («Катехизис») в руках, и следил пальцем, верно ли вызубрено. Против того всякое недоумение было бы бессильно.

Но что это за новые лица, являющиеся в семинарию неизменно пред каждым экзаменом? Никто их не видал до того и не видит после. А, это певчие Синодального и архиерейского хора; они значатся в семинарских списках и переходят из класса в класс, ничему не учась, ни разу не посещая ни одной лекции и не подав ни одного письменного упражнения. Служба в хоре заменяет им все семинарские труды. Для прохождения училищного курса к малолетним из них еще приставлены особые инспекторы, числящиеся при хоре, но более состоящие для мебели; назначали их для очистки совести. А на преподавание семинарских наук даже никого не назначалось. Жалкая была судьба певчих; недаром бегали и хоронились ребята в училище и в Риторическом классе, когда являлся регент за отысканием

голосов. Благо, если альт или дискант перейдут потом в тенор или бас. Воспитавший их хор оставит их при себе; пропитание обеспечено. Некоторые получали потом и дьяконские места за свой голос. Но горе, когда с прежнего голоса спал, а нового не нарождается; негодного члена выбрасывают из хора. Куда он пойдет и кто за него заступится? Вот ввиду этого-то и позволяли им числиться в семинарских списках; их переводили из класса в класс без испытаний; хотя они являлись на экзамены, их не спрашивали; давали им кончить даже курс, выпуская в третьем разряде. Но льгота простиралась все-таки на действительных членов хора, а к выброшенному возвращались все семинарские обязанности, за чем следовало, понятно, исключение, с его последствиями, тем более безотрадными, что пребывание в хоре оторвало его не только от семинарии, но и от семьи и от родных; для певчего нет отпусков и нет вакации.

Глава XLV
РАЗДУМЬЕ

«Куда я пойду?» Мысль об этом начала меня тревожить еще с Низшего отделения. Куда я пойду? В благополучном окончании курса я был уверен, но дотягивать ли семинарию? Само собою разумеется, меня ни на минуту не увлекала мысль воспользоваться преждевременным выходом из семинарии для поступления куда-нибудь «младшим помощником столоначальника», попросту — писцом, хотя я и находил основательными расчеты тех, кто, не имея склонности к духовному званию, оставлял семинарию среди курса. Права для священнослужительских детей одинаковы, выйдет ли кто из Философского, Риторического класса, даже из училища, или же окончит курс во втором и третьем разряде: каждому из них до классного чина нужно служить то же число лет. Для кончившего курс в первом разряде перспектива, по-видимому, изменялась: он прямо переименовывался в классный чин. Но ритор, поступая на гражданскую службу, достигал того же ранее да, кроме того, запасался приказною опытностью.

Приказная карьера не занимала меня сама по себе: неизбежное побирошество мелкого чина, тем более писца, в моих глазах равнялось с побирошеством дьячков. Как те с поклоном подносят на тарелке просфору богатому прихожанину, в ожидании получить гривенник, или и без просфоры подходят после службы и кланяются, поздравляя с принятием таинства или другим чем, в ожидании того же гривенника, так и приказный собирает те же гривенники такими же поздравлениями или прижимками, что не лучше. Помимо того, любознательность, духовное стремление вдаль были так сильны, что вдруг запереть машину на всем ходу, об этом и представления не возникало. Но не перервать ли семинарию для университета? Вот что меня занимало. Окончу семинарский курс, без сомнения, в первом разряде. Куда же двинусь потом? Предстояли четыре дороги: та же гражданская служба, во-первых, и те же против нее возражения; во-вторых, дьяконское место в Москве или учительское место в училище, за чем следовало опять то же дьяконское место; или же духовная академия со следующим за нею учительством в семинарии и далее — священническим местом в Москве; или, наконец, — университет. Духовное звание меня не манило и более всего по связанной с ним необходимости жениться. Семейная жизнь казалась мне скучнейшею прозой,

среди которой должны погаснуть все идеалы. Я приходил в содрогание, воображая себя женатым молодым человеком с кучей мелких обязанностей и забот, и сердечно сочувствовал своему старшему зятю, когда он сетовал на прозу своей жизни. Он был пламенная, восторженная душа; его мысль и дух всегда парили; он всегда был лирик, всю жизнь был идеалист. Отлично учился и отлично кончил курс в семинарии (Рязанской); вместо академии, куда бы ему поступить было пристойнее, он попал на священническое место в село. Отец умер, оставив жену с тремя непристроенными детьми сверх самого Федора Васильевича (так звали моего зятя). Мать с сиротами осталась на его плечах, и он принял отцовское место для исполнения обязанностей к сиротам. Но огонь горел в нем и продолжал гореть. Село с трудами хлебопашества и с мужиками кругом, и забитыми барщиной, и пьяными, и невежественными, не смяли его. Он был вечно бодр, юн, жив. «Никогда не женись, брат», — сказал он мне, полусмеясь, среди пиров на свадьбе средней сестры (это было в летнюю вакацию 1839 года). «Ты читаешь что-нибудь; вот место, которое тебя восторгает; ты возносишься, поток мыслей кипит, чувство тебя захватывает, ты хочешь излиться, чувствуешь в себе Пиндара, хочешь петь. „Маша, — скажешь, — поди-ка, поди-ка, послушай“. Читаешь с жаром, она выслушает и потом скажет: „А, знаешь ли, буренку нужно бы свести к пастуху“. Пиндар и буренка! Нет, брат, никогда не женись». Без негодования, даже без досады говорил это Федор Васильевич; он очень любил и ценил жену, как и она его. Шутливым тоном давал он мне этот совет и вместе меланхолическим. Рассказ его был необыкновенно жив; он читал наизусть те самые места, которые приводили его в восторг, подробно воспроизводил мысли и фантазии, в нем возбуждавшиеся, декламировал стихи при этом поэта какого-нибудь или свои собственные, внезапно в нем складывавшиеся. Он был всегда вдохновлен и не говорил иначе, как вдохновленно. И с тою же живостию и подробностию изображал тотчас картину мелочных забот и еще более мелочных дрязг, внезапно низводивших его с высот, в которых он парил, в грязный хлев, в расчеты с работником, который крадет овес и относит в кабак, в расчеты с торговцами, сбывающими, божась, полтину за рубль.

Заговорив о старшем зяте, не могу уже не кончить. Дойдут ли до вас эти строки, дорогой, высокоуважаемый Федор Васильевич, теперь уже маститый старец, доживающий свои дни в печальной болезни на руках внучат? По моему рассказу читатель вообразит в нем, пожалуй, праздного мечтателя, другой экземпляр Манилова. Напротив, Федор Васильевич был величайший практик и беспримерный хозяин; с тем вместе тот идеальный пастырь,

каких разве только десятки наберутся в России. Никогда праздного слова, весь в труде, образцово воздержный, строгий к себе, он переродил прихожан. Когда мне говорят, что сельскому батюшке невозможно не пить, потому что прихожане угощают; что угождать невежеству неизбежно, потому что иначе без хлеба насидишься; что нравственное действие на грубую массу поселян, погрязшую в суевериях и пороках, невозможно: я воспроизвожу, между прочим, образ Федора Васильевича. Он не пил ничего, заместив, однако, родителя, придерживавшегося чарочки и панибратствовавшего с мужиками; а он, напротив, был строг. Он поступил на место запущенное, в дом разоренный. Туго сначала пришлось. Он занялся хозяйством. Помимо хлебопашества завел при доме сад и огород. С редкою дальновидностью засадил границу своей усадьбы ветловыми кольями, сказав себе: чрез десятки лет это будет богатство. Колья были из породы ветел, так называемых «красных», из которых гнут дуги, и действительно, колья оказались потом богатством, когда выросшие ветлы продавались на аршины не дешевле соснового балочного леса. На десяток верст у него одного был свой овощ, и со своею обычною меланхолией, шутливо жалобным тоном, а сестра с негодованием передавали, что лучшие качаны капусты у них срезывали, морковь и прочие корнеплоды выдергивали. «И нет того, чтобы завести самим, — прибавляла с желчью сестра, — Федор Васильевич долбит, долбит им: заведите, и пример показывает, но, братец, уж такой мужик сип; упорен, ленив, пьян». А Федор Васильевич, слушая речь жены, меланхолически прибавляет: «Мне больше всего жаль моей елочки.

Вышла из семени, сам посадил; здесь хвоя, как вы знаете, совсем не растет. Топчет глупый, идет, не смотря под ноги. Я останавливаю. Подумай, вот я посеял, выходил, вот малютка выросла, и ты топчешь; за что? Ты мне хочешь зло сделать? — Нет, батюшка. — А зло делаешь. Ты затоптал елочку, ты загубил мой труд; ей было уже два года, и два года пропали, а твой сын вырастет, был бы благодарен за елочку, как вы благодарны за ветлу; а тоже вытаскивали их, когда сажал я колышками».

«Поп» было ругательное имя; при виде попа крестьянин сворачивал с дороги, видя дурное предзнаменование. Сквернословие было в полном ходу и служило приправой в разговоре. Таков был приход, когда Федор Васильевич вступил. А после вот какой порядок завелся. Выезжает с требой батюшка в какую-нибудь из пятнадцати своих деревень — все население, которое не в поле, высыпает на улицу, а дети становятся в ряд, чтобы батюшка всех их благословил. Крестьянин, завидя батюшку, стал снимать шапку издалека, дальше, нежели снимал

пред управляющим.

— Как же это сталось? — спрашиваю у сестры.

— Да что, — отвечает она, махнув рукой, припоминая докучливые сцены, в свое время досадные ей, но, отдавая теперь справедливость поведению, которое казалось ей тяжелым. — Бывало, едем в город; слышит, мужик выругался. Остановит лошадь, попросит мужика остановиться да и начнет петь, поет, поет. Тут думаешь, опоздаем на базар, а он поет. Так и отучил, и все стали почтительны.

Кончаково, куда отдана была сестра, посетил я в первый раз еще мальчиком, в 1833 году. Шел только второй год ее замужества. Помню страх свой, когда проезжал бором; темь, бесконечная колоннада обнаженных сосен, которых только верхушки зеленели. На земле ни травинки, только грибы по местам манили к себе; красная стена дерев облегала с обеих сторон; рассказ о разбойниках, которые будто тут укрываются. Брат Иван Васильевич, нас сопровождавший, осматривает заряженное ружье. Извозчик идет поодаль от лошадей, держа конец вожжей на расстоянии аршин четырех от лошади. Мы с сестрой Аннушкой вдруг вскрикиваем: «гриб, гриб!» или «брусника, брусника!» Но ступить шаг в лес боимся, видя ружье, слыша рассказы. Развалины какого-то завода на Черной речке, и название такое страшное. Приехали в Кончаково: убого и голо, хотя рига и полна снопами.

Приехал я туда же чрез тридцать лет, в 1863 году. Нет бора; новая дорога, и притом шоссейная, пролегает по другому месту. Бойко отхватал ямщик недалекое пространство тридцати верст. Вот Кончаково. Сопровождавший меня другой мой зять говорит, указывая на видневшуюся телегу: «Смотрите, это ведь Федор Васильевич едет».

Он. Давно я его не видал, лет пятнадцать. Думаю, постарел, живость прежняя прошла; ему уже под шестьдесят. Встречаемся: тот же, ни сединки, такие же быстрые глаза. Сначала он меня не узнал, а поздоровавшись, тотчас же заговорил: «Я вас спрошу, ученый муж, вот о чем: почему у нас нападают на папу, когда» и пр., и начал сыпать, перебирая явления в иерархии, где сказывается тоже папистское начало, хотя и в неразвитом зародыше. Сестра до смерти рада, племянница предлагает яблоки своего сада, подан чай, а хозяин сыплет свое. «Ну, вот, пошел! — ворчит сестра. — Ты не дашь брату осмотреться». Но я осмотрелся. Как и тогда, тридцать лет назад, переночевал. На другой день утром колокол, звонивший к обедне, разбудил меня. Встал я и вижу толпу, окружившую дом, и около нее Федора Васильевича. «Это что?» — я спросил. — «Муж жену избил; да

ведь это почти каждый праздник ходят к Федору Васильевичу разбираться с каждым делом». — «Кто же это завел?» — «Да завелось само собою; мужики очень любят; уж как положит батюшка, так тому и быть; уж очень он, братец, справедлив и внимателен», — поясняет сестра.

Выхожу на задворки. Где была голая луговина, спускавшаяся к ручью, там теперь густой сад с отборнейшими сортами яблонь; ветви ломились от плодов, подпертые палками. Пили в саду чай при оригинальной музыке: то там, то здесь шлеп, шлеп, падали яблоки на землю. Спускаюсь к ручью: высокие ветлы на прежнем пустом пространстве, а в середине нижней луговинки высочайший осокорь, сажен в 20, по крайней мере смотреть наверх надо, заломя голову, чистый, ровный, прямой как стрела. «Федор Васильевич вырастил и всегда за ним ухаживал, обчищал».

Когда преосвященный Алексий вступил в управление Рязанскою епархией в конце шестидесятых годов и Федор Васильевич представлялся ему в качестве благочинного, с неудовольствием преосвященный вскинул на него взор: «Что это, какого молодого сделали у вас благочинным! За что это? Сколько тебе лет?» И когда мнимый юноша объявил о своих шестидесятых годах, можно представить изумление архиерея. Моложавость шестидесятилетнему старцу придавали небольшой рост, худощавость, быстрые движения с подпрыгивающею походкой, живые глаза и совершенное отсутствие седин.

Итак, «не женись, брат, никогда», вспоминалось мне, и я не мог не убеждаться всеми виденными примерами в прозе семейной жизни. Но проза не в семейной только жизни, а в духовенстве вообще. На кого ни посмотришь, всякий, поступая на священнослужительское место, опускается, начинает растительную жизнь, наращивает брюшко, засыпает умственно. При довольном доходе ленится, при малом доходе приходит в движение, но изощряясь в одном — добыть материальные средства. Я не давал себе отчета, но чутьем слышал, что изо всех званий духовное есть самое ложное, хотя самое высокое по идее, и именно потому ложное, что слишком высоко. Солдат, крестьянин, купец, врач, профессор — каждый есть то, что он есть: воюет, пашет, торгует, лечит, учительствует. А пастырь, о котором извествуется в пастырском богословии, и батюшка в действительности — две разные сущности; последний есть футляр, оболочка, скорлупа, вид, механизм без души. Отсюда пустота жизни. Федоры Васильевичи — единицы из десятков тысяч. То, о чем зазубривалось в пастырском богословии, умом принято и сердцем, пожалуй, но в практику не проходит и при

данной обстановке перейти не может. На практике он — обыкновенный, подобострастный всем человек, с тем различием, однако, что у других профессиональная практика и профессиональная теория не расходятся, и не расходятся, потому что требование теории не поднимается выше механики действия; а от пастыря по богословию требуется не механика.

Ближайшим, но малоутешительным примером был брат. Он служил добросовестно, добросовестнее сотен; он проповедовал. Но его проповеди были литературным произведением. Написанное после предварительного обдумывания и потом прочтенное или же вылившееся из души, сказанное и потом записанное — это два отдельные рода, и чутье мне сказывало, что брат занимается хотя почтенным, но праздным и даже ложным делом: он мнил себя проповедником, когда был в сущности сочинитель.

Если тогда и мелькало впереди духовное звание для меня, то единственно в виде монашества. Здесь по крайней мере не будет затягивающей прозы: так мне казалось, и если я найду в себе достаточно сил на подвиг, думал я, то я его приму. В этом смысле мечтали мы вдвоем даже с братом. Никогда и он не манил меня во священство. Если заходила речь о возможности мне поступить в академию, то в общих размышлениях о моем будущем конечною точкой мы оба единогласно полагали монашество и, следовательно, архиерейство как естественное последствие, потому что монаха-магистра не останавливают на полпути, если только не совершил он чего-нибудь зазорного. Брат высчитывал года, когда я должен получить архиерейскую митру, если даже и не выдвинусь ничем. В академию поступить с тем, чтобы потом вернуться в епархиальное ведомство и занять рядовое место приходского иерея после профессорской должности, этого, у меня по крайней мере, и в голове не укладывалось. К чему же, думал я, вся наука после того? И, в частности, удивлялся я добровольному отречению от гражданских прав, на которое шли профессора, принимая священство. По порядкам гражданской службы, профессор семинарии чрез шесть, а бакалавр академии чрез четыре года приобретал право на переименование в VIII класс и, следовательно, право на потомственное дворянство, которое соединено было тогда с VIII классом.

В смысле карьеры уже и продолжать бы им дорогу, на которую вступили, вычислившись из епархиального ведомства при поступлении в академию. Отказаться от прав, жертвовать независимостью, обращаться в крепостное состояние епархиального ведомства, бросать книги и науку для того, чтобы где-нибудь в Замоскворечье или Заяузье кланяться

невежественным купцам, а дома обзаводиться кучей ребят да женой, которая сама кулебяка, ничего, кроме кулебяки, и утешить не может: я этого не постигал. Затем вечное стеснение, вечная обязанность держать себя, невозможность жить нараспашку, сюда нельзя идти, при этом неприлично быть и т. д.

Итак, или академия, и притом без возвращения в епархиальное ведомство, или университет — вот представлявшиеся виды. А если решиться на университет, то не будет ли потерей времени пребывание в семинарии, начиная со второго года Философии? Из опередивших меня на один курс некоторые перешли в университет из Среднего отделения. Был бы и я теперь с ними, размышлял я, когда бы не оставался в училище лишние два года. Отсталость меня мучила, тем более что в семинарии я не ожидал впереди узнать ничего, кроме повторений более или менее известного. В университете наука свежее и обильнее. Без доступа к ученой литературе все мои приготовления по языкознанию пропадут даром, а доступ к науке видится только чрез университет.

Раз заикнулся я о своем желании брату (это было еще в Низшем отделении); тот не отринул моего намерения решительно, но восстал против намерения бросить семинарию среди курса. «Сперва надобно кончить курс здесь, а затем вольная дорога, иди, куда влечет. Положим, поступишь в университет; а ну, там тоже не кончишь курса? Мало ли какие могут случиться неожиданные обстоятельства! Помимо всего, можешь заболеть, и болезнь вынудит бросить университет прежде времени. Что тогда? Останешься получеловеком на всю жизнь». Совет брата подействовал глубже, нежели он мог ожидать. Я усомнился не только в благополучном окончании университетского курса, но даже в том, выдержу ли вступительный экзамен. Примеры, по-видимому, должны были меня успокоить; в университет поступили же если не из посредственных, то во всяком случае не из отличнейших, даже не из лучших семинаристов. Но я приписывал их успех случайности; себя ценил я очень низко. Свое первенство среди сверстников я склонялся объяснять тоже случайностью или недоразумением профессоров, тем более что брат меня не баловал отзывами. На «дурака» он не скупился в приветствиях мне; когда попадалось ему сочинение, не читанное им и не правленное, он усиленно, по ниточке разбирал его, клеймил сарказмами и мысли, и выражения. Иногда же выставлял в таком высоком свете университетскую науку и познания университетских и в таком презрительном виде семинарию и даже академию, что я терялся и со страхом думал: куда ж мне до университета и его науки? То ли дело старые времена, горевал я;

бывало, можно было держать экзамен, не представляя увольнительного из семинарии свидетельства. Между прочим, брат Иван Васильевич не только допущен был до экзамена, но несколько недель даже посещал лекции Медико-хирургической академии, не быв уволен из духовного звания, и потом ушел. Может быть, несмотря на советы брата, я попытался бы по крайней мере держать экзамен, когда бы старые порядки продолжались; но бросить все, оторваться от одного берега и, пожалуй, не пристать к другому, нет, страшно!

Робость моя еще тем усиливалась, что ближайших сведений об университете мне неоткуда было получить. У других были у кого родной брат, у кого какой-нибудь родственник в университете; студенты знакомы, бывают в доме; университетские новости известны в тот же день; студенческие интересы принимаются к сердцу семинаристом-братом или родственником; рассказы о профессорах и лекциях слушаются с участием, как бы о своих семинарских. А я об этом университете слышал, хотя довольно, но из третьих рук, от В.М. Сперанского, у которого два брата были студентами: на медицинском факультете один, на словесном другой. Лично же ни с одним студентом в четыре года не пришлось сказать ни слова. Все знакомство ограничивалось лицезрением посетителей «Великобритании» (трактира) и лицезрением еще студента-соседа, жившего на уроке в доме протопопа, наискось от братниного дома. Но кто такой этот студент? Чем он занимается? Что читает, как судит? Напрасно было любопытство; я видел и слышал, что возбуждавший мое любопытство синий воротник играл иногда на гитаре, а это единственное сведение не говорило, конечно, ничего.

Был и еще студент; раза два, три он даже приезжал в дом брата, близкий его родственник, родной ему племянник по жене. Но я сидел в своем углу при этих визитах; никто меня не вызывал, никто не представлял гостю, и гость едва ли ведал о моем существовании, хотя я сильно им интересовался. Я знал, что он кончил курс с отличием в гимназии; слышал, что он в гимназии читал Софокла. Но что он теперь? Девочка-племянница сказала мне раз, что гость-студент привез, между прочим, ноты и сидит теперь, их читает. Это известие окончательно повергло меня в ничтожество: читает ноты как книгу!

Этот гость-студент, племянник моей невестки, был А.Н. Островский, столь известный теперь драматург. Чрез шестнадцать лет потом мне пришлось с ним встретиться и познакомиться, но при других обстоятельствах. Для «Русской беседы» в одну из начальных ее книжек назначалась пьеса Александра Николаевича,

и автор должен был прочесть ее в кругу ближайших к редакции лиц, к которым и я принадлежал. Кроме Кошелева и Филиппова тут были Хомяков и Константин Аксаков. Кто был еще и где это происходило? У Кошелева и Хомякова? Нет. У Елагиных, у Аксаковых? Не помню. Но это было в 1856 году, и событие запечатлелось во мне, может быть, именно по воспоминанию о студенте, читавшем про себя ноты в том доме, где другой юноша, ему незнаемый, так сильно им интересовался, между прочим, из желания знать поближе, какие такие бывают студенты, кончившие курс с отличием в гимназии.

Глава XLVI
ЧУЖОЙ ХЛЕБ

Я послушал брата и бросил на время помышление об университете. Но я не мог без горечи вспоминать об этом до самого Богословского класса; я сидел на чужих руках, когда мог бы сам добывать хлеб. Горек чужой хлеб, особенно когда и попрекнут им подчас. Завидовал я Лаврову, доставшему непостижимым путем уроки; завидовал имевшим почерк, что могли добывать деньгу хотя перепиской. Единственный заработок, стряпанье сочинений для неспособных и ленивых, доставлял мне всего по нескольку гривен. Кроме книжек, я в силах оказался приобрести на свои трудовые только шляпу, купив ее за 70 коп. у кухаркина мужа, служившего где-то дворником. Шляпа была изящная, французского плюша, но помятая, брошенная, очевидно, за негодностию. Я отдал ее поправить, и она смотрела как новая, лоснилась, блестела, и воображаю, как странно смотрело это парижское изделие при потертом сюртуке с полупродранными локтями и порыжелых брюках.

Читатель знает о моей казинетовой чуйке и мухояровом ватном сюртуке, в которых я выехал из Коломны. Сюртук служил мне около двух лет, чуйка — около трех. Обыкновенных сюртуков с нижним платьем я переменил три в течение четырех лет. Я рос сильно и к восемнадцатилетнему возрасту почти остановился; платье, даже недавно купленное, становилось коротко, а чуйка, сшитая на весь рост, чрез два года имела вид теперешнего пальто, только с укороченными рукавами. Брат Сергей, приехав зимой в Москву, сжалился и купил мне шинель; это было на первом году Среднего отделения. Шинель куплена была, как и все мне покупалось, на так называемой Площади близь Толкучки, поношенная. Голубой ее цвет и короткий стоячий воротник внушали догадку, что когда-то она принадлежала жандармскому офицеру, а вата с зеленым узорочным подбоем из фланели показывала, что после жандарма шинель была на плечах у какого-нибудь статского и уже от него перешла в лавку. В шинели я казался себе почти уже щеголем. А до того стыдился даже выходить днем в своей чуйке, которая, кстати, и по-разодралась; меня в ней видели только раннее утро на пути в семинарию и темный вечер на обратном пути домой.

Сюртуки покупались тоже из подержанных, однако перешитые заново, и один был даже из разных сукон, полы одного, а рукава другого сукна; на первый взгляд это, впрочем,

было незаметно. Брюки доставались всегда новые, но зато суконных и не покупалось: отвечала нанка и разные пеньковые материи. Из числа сюртуков один был, однако, новый, по заказу сшитый, казинетовый, голубого цвета; я любил его более всех, потому, между прочим, что он был единственный сшитый по моей мерке и, следовательно, сидевший складно. Готовое не могло быть по мне, тем более при особенности моего стана: я, вытянувшись до 2 1/2 аршин, был тонок и узкоплеч, высокая былинка; готовый сюртук оказывался либо широк, либо короток, либо то и другое. Обыкновенно мы долго бродили по Площади с двоюродным братом, дьячком от Николы Большого Креста, прежде чем находили желаемое. Как местному жителю, Василию Васильевичу лавочники были знакомы и приятели, и он сразу осаживал их, когда они пускали в ход привычный себе прием надувательства. Он швырял иногда первую показываемую партию, требовал «настоящего», и дело улаживалось. Я отдавался воле и вкусу моего покровителя и только слушал диссертации о сравнительных достоинствах и недостатках показываемого сюртука или сюртучной пары. «Смотри, не завощено ли где или не закрашено ли?» — «Нет, Василий Васильевич, пред вами мы этого не смеем; вот, извольте посмотреть, этого мы вам и не подаем. Извольте видеть, вот, закрашено: сюртук до первого дождя. А вот у этого рукав, видите, выворочен и начесан, я этого не подаю. Здесь рукава из другого сукна, разные, за новое я и не продаю; но сюртук хороший, видный».

Было раз, мы ходили с Васильем Васильевичем в Лоскутный ряд, бывший на месте теперешней «Лоскутной гостиницы», очень темный, со множеством лавок. Мой патрон по костюмерной части объявил мне, что здесь торгуют всеми возможными тканями и мехами, но только не цельными кусками… «Откуда же берут? Откуда набирается так много?» — любопытствовал я. — «Да из лавок продают остатки, но оттуда мало; для лавок есть другие покупатели, портные и картузники, а сюда больше несут краденое. Портной, портниха, скорняк принесет стащенное у хозяина или у заказчика, а то и прямо жулик; попадается и им иногда новое. Старого, ношенного здесь не берут; старье идет на Площадь. Цельную штуку если принесут сюда, ее режут на куски, чтоб обокраденные хозяева не признали их в случае обыска. Зато здесь уже есть все; нет материи, какого бы сорта и цвета ни было, чтобы нельзя было подобрать. А бывает нужно, вот как нам с вами теперь, у фрака рукав чем-нибудь попорчен, у дамского платья спинка; и фрак, и платье совсем новые; портной вставит другое полотнище на место испорченного; а здесь подгонят материю и сорт так, что не отличишь». Мы, однако, не нашли того, чего

искали. А нам нужно было рукав ли, или что другое вставить в приторгованный сюртук, во всех других частях выдержавший испытание строгого знатока, Василия Васильевича.

Невзрачность одежды меня угнетала. Зная, что по платью не только «встречают», но часто и провожают, кем, думалось мне, должен я представляться постороннему? На какое обращение уполномочивается каждый встречный моею наружностию? Да и помимо платья что я такое — продолжал я размышлять — ученик последнего класса семинарии, такого заведения, которого не уважают, над которым смеются, о котором не услышишь отзыва не только почтительного, но даже снисходительного. Пред незнакомым, кого встречал в первый раз и о ком имел основание предположить, что снова не встречусь, я в разговоре скрывал свое звание и положение, даже лгал, когда спрашивали, повышал себя на класс, если признавал себя учеником семинарии, или же придумывал другое звание. Прилипал язык, я не смел принять участия в разговоре, когда предполагал собеседника знающим, кто я.

Ехал я на побывку в Коломну зимой, в сопровождении брата Сергея. Ночевали на постоялом дворе. Брат прилег уснуть; мне спать не хотелось; не спал и еще один неизвестный, из «господ», расположившийся в той же или соседней комнатке. Не помню, как завязался у нас разговор и с чего начался, но он скоро перешел на умные материи и на общественные вопросы. Собеседник, оказалось, был учитель уездного училища. Как относится Коломна и вообще купеческий класс к образованию, какое ложное положение испытывают учителя, как гибнут, не расцветая, дарования! Есть необыкновенно даровитый мальчик, Тарусин (я даже фамилию запомнил); помимо всего у него талант к рисованию, из ряда выходящий; но завтра возьмут его таскать кули, не дадут и курса кончить родители; курс оканчивают лишь дети приказных. Беседовали мы долго, причем и я вступал в суждения, сообщал свои замечания и наблюдения. Я говорил смело: дело ночное; кто я, почему может знать мой собеседник? Предубеждения у него не должно быть. Я говорил смело, судил свободно, оспаривал своего собеседника в некоторых пунктах.

Но был свидетель нашего разговора. Брат, которого я предполагал спящим, не спал; может быть, проснулся, нами разбуженный, но продолжал молчать. Он был поражен. Вечно молчащий, никогда своего суждения никуда не вставляющий, а только выслушивающий и изредка лишь обращающийся с вопросами и просьбами о пояснении, младший братишка не только рассуждает, вступая в прения со взрослыми, но рассуждает о таких предметах и так, что приходится только соглашаться с

ним человеку, не запасшемуся особенными сведениями! Я произвел, очевидно, впечатление Иванушки-дурачка, преобразившегося пред королевским дворцом. Заключаю так из нескольких слов брата Александра, мне ли брошенных потом в виде упрека, или другим при мне с выражением удивления. Чрез несколько недель, месяцев даже может быть, не забыл Сергей передать Александру о подслушанном разговоре: столь сильное произведено было на него впечатление!

Задумываюсь об этой двойственности, даже тройственности, в которой я держал себя тогда. Она не ограничилась тогдашним временем; преследовала она меня долго, до самого выхода из духовного ведомства и даже далее. Я занимал уже кафедру; в один из каникулярных периодов гостил в Москве; отправился раз в Кремль, был какой-то праздник; в Чудове архиерейское служение. Направляюсь в церковь, пробираюсь сквозь ряды богомольцев, теснящихся на ступенях высокого крыльца. Наверху стоит страж благочиния, квартальный. «Долой пошли! Назад, назад!» — кричит он столь известным России полицейским голосом, отпихивая теснящихся в церковь. Попадаю под его властную длань и я; он толкает меня с такою силой, что я кувырком лечу с лестницы. Поднялся я и размышляю после первой секунды негодования. «Разве написано на мне, кто я? Да положим, он и знал бы мое общественное положение. Правда, он оказал бы мне вежливость, даже внимательность, может быть. Ну, а эта сотня желающих молиться? Я буду избавлен от толчков ради своего социального положения, а их будут бить так же, как бьют сейчас, как бьют везде. Прав ли я буду, нравственно воспользовавшись привилегией своего внешнего положения, получа ради его доступ в собор, куда вступить из сотни этих богомольцев половина достойнее меня? Их влечет желание молиться, а меня, может быть, более любопытство, нежели молитвенное расположение. Квартальный не исправится, если я пожалуюсь; да и винить его нельзя, его должность такая; даванье зуботычин входит в его прерогативы, без которых, по общему мнению, пусть ложному, нельзя обойтись. Да и кому я пойду жаловаться, чем докажу факт грубого обращения? Производить ли скандал здесь на паперти, требовать составления акта? Это комично наконец, и что я выиграю? Выговор квартальному, по совести им даже не заслуженный, извинение предо мною, которое для меня никакой цены не имеет, когда степень культуры моего оскорбителя мне известна. Да, Игнатий Алексеевич вот сердится, когда спотыкнется на камень, попадающийся под ногу. Не довольствуясь тем, что отпихнет неожиданное препятствие, он сердится; он гонится за камнем, отбрасывая все далее и далее с

гневным восклицанием: „А, негодный!“ То же делает и с прутом, нечаянно хлестнувшим его в лесу; с гневом ломает его, бросает и топчет. Не то же ли повторю и я, требуя извинений от квартального?» Низвержение мое и следовавшие за ним размышления столь сильно на меня подействовали, что впоследствии я, сбираясь на какую-нибудь церемонию… читатель ожидает — надевал мундир?.. Нет, наоборот, я накидывал самое невзрачное из своих одеяний и, помню, в овчинном тулупчике слушал в Успенском соборе литургию и манифест об освобождении крестьян. Стократ счастливым счел я себя тогда, что и рубище не закрыло первопрестольного собора для меня в этот знаменательный для России день. Мысленно я пародировал себе в подобных случаях слова «Библейской истории» Филарета о Моисее, что он «предпочел страдать с народом Божиим, нежели разделять временную греха сладость»; удержусь от пользования случайными внешними преимуществами, когда дело идет о доступе к такому благу, на которое все имеют равное право человека ли вообще, русского ли человека в частности.

Сказанная сейчас черта выразилась во мне, может быть, даже преувеличенно. Долгое, очень долгое время я не решался выступать с личными суждениями и в печати, и в разговорах. До самых последних времен я не допускал своей полной подписи под статьями; в разговорах, и притом когда занимал уже положение в обществе, я долго не решался употреблять выражения: «я полагаю» или «мое мнение таково»; высказывал свое мнение не иначе как в выражениях: «есть мнение» или «есть люди, которые полагают, напротив»… Эта несмелость выражения, это отвращение к выставочности, эта вечная боязнь злоупотребить авторитетом, хотя бы иногда был он даже законный, или встретить возражение, основанное не на существе мысли, а на личном против меня предубеждении, эта сдержанность — коренились с тех молодых лет, когда я был еще в семинарии, когда каждое поползновение выступить заграждалось вставшим тотчас же недоумением: «А скажут тебе: что ты суешься? Кто ты такой? Знай сверчок свой шесток; ты семинарист, не больше».

Резкое обращение брата довершило эту пригнетенность духа. «Глупо! Совсем не так!» Брат не заметил моего внутреннего роста; безоглядность и опрометчивость были вообще в его природе. Были пункты, в которых я перерос даже его, а он продолжал обращаться ко мне с тою же авторитетностью, не допускавшею возражений, как было два, три года назад. Я замолчал. Я только слушал и изредка спрашивал. В классе же среди сверстников речь моя, напротив, лилась; я сыпал замечания, веселые рассказы и отличался даром живого изложения, пересыпанного остротами.

Это была тоже натяжка, я лицемерил; я не находил отрады в пересмешничестве; я ему предавался за недостатком более развитых собеседников и более серьезных предметов для беседы. Своим балагурством я применялся к окружающим, с которыми, чувствовал я, другого, более питательного разговора нельзя вести. Я даже иногда лгал на себя, изображая себя в положениях, которых на деле не принимал, но которые, если бы водились за мною, уравнивали бы меня с товарищами.

Проходя ежедневно Девичьим полем, я вскидывал иногда взор на сторону, откуда высматривал задумчиво дом с большим садом, бывший некогда князя Щербатова, историка, недавно приобретенный Погодиным. С тоской думал я: вот как близко от известного профессора и публициста, а не подойдешь! Если бы брат, познакомившийся после с Погодиным, сошелся с ним, еще когда я жил на Девичьем поле, дальнейшая судьба моя несомненно пошла бы другим путем; мне бы открылся круг, в который я введен был уже тринадцать лет спустя; и развитие, и внешнее положение определились бы иначе. Университет не был бы мне страшен, и в семинарии наверное бы я не остался. Мне открылись бы уроки, и я был бы избавлен от необходимости есть чужой хлеб. Прибавилось бы и бодрости; не приходило бы надобности в превращениях Иванушки-дурачка; все пошло бы ровнее, и от скольких дальнейших противоречий в жизни я был бы спасен!

Два раза, однако, навертывались было уроки. Зять Лаврова, дьякон, женатый на его сестре, рекомендовал меня своему прихожанину, купцу на Таганке, искавшему преподавателя начал французского языка. Явился я. Встречает хозяин-бородач. Потолковали. «Так-то все так, — заключил беседу хозяин, — но видите, у меня дочка на возрасте, вы человек молодой; что это дьякон-то вздумал вас прислать?» Выражения едва ли не были даже грубее по направлению отца дьякона. Я ушел ни с чем, оплеванный; между тем и учить-то приходилось совсем не дочку на возрасте, а сынка лет одиннадцати.

Другой урок был репетиторство со внуком священника Пятницы на Божедомке, того самого, который приезжал к родителю в Коломну, спасаясь от французов. Это было мне по дороге из семинарии в Девичий, и я вечерами из класса заходил к своему ученику. Увы! Я нашел малого не только плохо учившегося, но и не желавшего учиться. В других выражениях, но он повторял Митрофаново «не хочу учиться, хочу жениться»; заговаривал, вместо сдачи урока, о бульварных девицах, о сравнительном достоинстве полпивных. Походив неделю или две, я бросил; было тошно заниматься, да и недобросовестно брать

деньги даром. И деньги-то, впрочем, ничтожные, едва ли не полтора рубля за месяц.

Откуда-то Лавров достал мне работу — переводить с французского какое-то руководство к земледелию ли вообще или к огородничеству в частности. Полного заглавия не знаю, мне дан был только отрывок «Об устройстве и обделке гряд». Однако и этот способ добывки средств только поманил меня: лист или два переведены были мною за цену, почти не превышавшую цены переписки; более у моего приятеля не оказалось оригинала. Я не знал, кем этот труд был и заказан. Да знал ли и сам Лавров? К нему перешел оригинал, вероятно, из третьих рук в четвертые.

Глава XLVII
БЕГСТВО

Приближалась летняя вакация 1840 года. Я готовился к переступлению в Среднее отделение. Прошлогоднюю вакацию провел я в Коломне, и эта побывка оставила во мне восхитительнейшее впечатление. Снова в теплое гнездышко, к своим ближайшим, роднейшим, к спутницам моего детства, в тот садик, где, бывало, в это время аккуратно я начинал каждый день тем, что проходил частокол соседского сада и обирал малину на прутьях, свесившихся чрез частокол в наш сад. До малины в нашем саду дойдет очередь, но обобрать надобно первоначально эту, соседскую. Ах, соседский сад! Сколько он доставлял нам радостей, а мне однажды большое огорчение. Сад был полон яблонями, и какое всегда на них обилие яблок! Глаза у нас разгорались на эти краснобокие фрукты. Кто-то из двоюродных братьев научил сестер хитрости, показав пример. Он взял большой шест, на вершине его вбил перпендикулярно гвоздь, острый конец которого далеко выставлялся. С шестом в руке проходили по частоколу, поднимали шест и вонзали приготовленное орудие в облюбованный фрукт; поворачивали шест и тащили назад, уже с яблоком на нем. У сестер всегда был запас кузнецовских яблок; меня к участию в своей охоте не допускали, хотя яблоками и угощали. Шест где-то хранился в потаенном месте. Взяла меня зависть и жадность. Я отправился на охоту без орудия. Чего стоило вскочить на частокол, перелезть, оборвать ближайшую яблоню и — назад! Я полез на частокол, но только что ступил на него, как нога завязла между кольями; а в ту же минуту хлопнула калитка с соседнего двора. Идут в сад! Стараюсь вытащить застрявшую ногу; тщетно! Между тем вижу, приближается кто-то ближе и ближе, а ноги все в частоколе. Подходит кухарка. «Ты зачем это здесь?» Не помню, какую я выдумал причину, что-то я закинул нечаянно в сад и иду отыскать затерянную вещь. «Не ври, голубчик; ты за яблоками лез. То-то у нас яблоки убавляются с вашей стороны. Пойдем к хозяину». «Матушка, голубушка», — взмолился я и начал припоминать, какие ласкательные выражения употребляются в обращении к женщинам такого возраста. Так был растерян и напуган, что никак не мог найти искомого слова. «Матушка, старушка (вместо „тетушка“, слова, которого я искал), отпусти». «Какая я старушка! — возразила гневно кухарка. — Ишь ты вздумал, в старухи меня пожаловал! Пойдем, пойдем!»

И взяла она, как воробья из тенет, и привела к хозяину.

— Это не дело, — сказал старик-купец. — Вот я батюшке скажу, чтоб он тебя наказал.

Я пролепетал то же нескладное оправдание и был отпущен. Чрез полчаса явился посланный, чтоб известить моего отца. Горячо было бы мне, если бы довели дело до моего родителя. Но отец спал; посланного приняли сестры и обещали передать поручение. Но не передали, вероятно, потому что их собственная совесть была не чиста. Так кончилась моя попытка к краже.

Не для таких похождений я приехал на вакацию; но все мне вспомнилось, каждый кустик, каждое деревцо о чем-нибудь мне напоминали. Истинно я блаженствовал, а одно происшествие оставило во мне глубоко трогательное впечатление, силу которого доселе живо воспроизвожу.

Жаркий день и жаркая ночь. Я сплю на балконе; там же и сестры. Рано, рано, часа в три утра я был разбужен, колокольный звон раздавался по городу, звонили на всех колокольнях и даже сельских подгородних.

— Что это такое? — спросил я.

— Митрополит приехал, на похороны, должно быть. Никита Михайлович умер.

Никита Михайлович, протоиерей соседней Зачатиевской церкви, был родной брат Филарета. У меня слезы выступили на глазах. Это чудное утро, легкий туман, едва поднимающееся солнце, полная повсюду тишина, и этот звон, возвещающий о приезде архиерея-брата на последнее целование брата-протоиерея. Меня тронула эта родственная нежность высокого иерарха к своему невидному брату, притом и бедному внутренними достоинствами. Покойник, родитель мой, бывший на погребении, передавал мне потом, что две крупные слезы скатились по щекам митрополита во время прощального обряда.

Естественно было желание во мне повторить сладкие впечатления свидания с родиной. Нужно было спросить брата.

Но с братом уже разладилось у меня. О, какая мудреная наука найти черту, где должна окончиться нравственная опека, и отыскать правильную постепенность, с какою должны быть ослабляемы вожжи. С глубокой, безусловной верою в брата приехал я в Москву. Со внимательною любовью относился ко мне брат. Один случай даст понятие об отношениях, какие сохранились еще весной 1839 года, через девять месяцев после моего переезда в столицу. Брат был охотник до наливок и мастер их настаивать. Окна были заставлены бутылями. Раз, в отсутствие и брата и невестки (они были где-то в гостях), племянник-мальчик предложил мне попробовать из одной бутыли; я имел

легкомыслие принять предложение. Попробовали из одной, попробовали из другой. Обойдя все бутыли, мы оба опьянели. Много ли нам нужно было, мне четырнадцатилетнему, а тем более осьмилетнему племяннику? У него закружилась голова, и его стошнило. До сведения брата доведено было происшествие. Я уже спал, когда он и невестка возвратились из гостей; ранним утром я отправился по обыкновению в семинарию. По приходе домой нахожу брата пасмурным.

— Что ты сделал? Что вы сделали? А я уже боялся, не случилось ли чего с тобой, не бросился ли ты в реку; ты так долго не возвращался.

Но мое промедление было случайно, о чем я и объяснил брату. Затем последовал упрек, мягкий, дружественный, раскрывавший всю гадость поступка, особенно по отношению к мальчику.

— Я Петра (сына) наказал. Что же мне с тобой сделать?

— Накажите и меня, — отвечал я, тронутый, сознав вполне всю непростительность своего легкомыслия.

— Я его высек.

Не отказался и я от такого внушения, сам сознавая себя более виноватым, нежели мальчик-племянник. Брат приготовил розгу; я лег.

— Нет, вставай, — сказал он расплаканный, — не могу.

Я плакал, понятно, тронутый не меньше его. Мы расцеловались, и о происшествии не было больше помина. Но взаимное доверие начало ослабляться по мере того, как я рос. Я стал тяготиться постоянною указкой; у брата вырывались слова, что он тяготится моим содержанием. Слова эти срывались нечасто и притом в гневе, но достаточно было сказать раз, чтобы утратилась прежняя моя безбоязненность. Брат приходил в негодование, пожалуй, и справедливо, на то, что я ленился чистить свои сапоги. Начинал он иногда указывать на меня своим детям, чтоб они не брали пример с меня. Доходило до того, что он говаривал: «Смотрите, смотрите, как он ест!» То есть, как будто я ел с жадностью. Я отмалчивался, и это приводило его в раздражение, свидетельствовало о моей глубокой испорченности, бесчувственности. Надо мною читались детям рацеи. Охлаждение и взаимное нравственное удаление были неизбежны. Он требовал за непременное, чтобы я показывал ему все свои сочинения; а я уже перестал верить в совершенство его поправок. Он высказывал замечания и суждения, но я с некоторыми уже не соглашался. Противоречие выводило его из себя; легко воспламеняемый, он наговаривал много несправедливого и оскорбительного. Через два года отношения уже натянулись. Я жил в себе больше, и брат

ко мне нечасто обращался. Помимо службы он был поглощен воспитанием сына, занимаясь с ним усердно.

Я стоял у печки в приемной комнате, которую называли «залой»; она первая после прихожей, угольная, два окна на одну сторону, два на другую. Зеркало; печка в углу; старинное фортепиано налево у стены, отделяющей залу от спальни. Брат ходил по комнате.

— Братец, можно мне ехать в Коломну? — спросил я просительным тоном.

Он отвечал отказом резким и грубым. Представил какие-то основания и заключил, чтоб я не смел и думать.

— А если я поеду без позволения? — спросил я самым смиренным, как мне казалось, тоном. Но, должно быть, в нем слышалась досада, как сужу из последующего.

Неожиданное и небывалое противоречие взорвало брата. С потоками брани, как я смел это сказать и думать, он бросился на меня и схватил за волосы. Я вырвался и произнес три слова:

— Это уже слишком!

Два года я жил; рука его никогда на меня не поднималась, хотя язвительных и грубых слов расточалось довольно.

Я выбежал на двор; брат погнался было, но воротился. Как я достал картуз, не помню. Только я вышел со двора и направился к полю (Девичьему) с решимостью не возвращаться.

Дело было вечером. Куда я пойду? Но я об этом не думал, душа во мне кипела. Я припоминал все грубые попреки, которые считал тем менее заслуженными, что сердечно жалел о тягости, которую наложила дороговизна хлеба в этот год, и от души желал облегчить брата. Но не я, а он же виноват, что все способы у меня отняты. Даже отдаленный намек о том, что я мог бы достать какой-нибудь урочишка, встречал с его стороны решительный отказ. Я не могу отлучиться никуда, чтобы не вызвать выговоров и обидных подозрений. Самые невинные действия мои истолковывались превратно, в дурную сторону. Моя скромность истолковывалась как ожесточенность. И наконец, что преступного, что дурного, что я желаю ехать к отцу и сестрам? Дом на Девичьем поле разве тюрьма для меня и за что я заключен?

И я все шел. Пришел в Москву, то есть прошел Поле, вступил на Пречистенку. По косности привели меня ноги и к Александровскому саду. «Куда ж теперь?» — подумал я и направился на Ильинку к брату Василию Васильевичу. Никогда я до сих пор не проводил ночи вне дома, и я стеснялся попросить ночлега, хотя в такой просьбе не было ничего чрезвычайного. Но мне казалось, что на меня посмотрят как на бродягу, что на лице

моем прочтут преступление.

Опасения мои, разумеется, не оправдались. Меня приняли радушно. Разговорились, и незаметно, само собою вышло, что я должен ночевать; время позднее, под Девичий далеко. Разумеется, я ни слова не сказал о причине, приведшей меня в столь необычный час на Ильинку.

Но до роспуска оставалось еще два дня. Следующий день был канун публичного экзамена. Год был курсовый, переходный. На этот раз Семинария была, между прочим, и ревизована. Ревизором был назначен викарный архиерей Виталий. Экзамены частные все были мною уже сданы, и от них осталось, между прочим, неутешительное для меня воспоминание. Ревизор нашел, что отвечающий ученик плохо прочитал какой-то пример, кажется, отрывок из проповеди Массильйона о Страшном суде. Захотелось ему испытать искусство чтения. Как первого ученика, вызвали меня.

— Знаете оду «Бог»?

— Знаю.

— Прочитайте-ка.

Я начал. Прослушал архиерей несколько и отпустил со словами:

— Э, батюшка, и вы читать не умеете.

Прошатался я утро по Москве; обедать зашел к другому двоюродному брату, Ивану Васильевичу, в Овчинниках. Тары да бары до вечера. Однако не ночевать же мне здесь. Это будет даже подозрительно: у одного брата сегодня, у другого завтра. Я отправился снова шататься и забрел в Александровский сад. Здесь в гроте нахожу господина, разговорясь с которым узнал, что это землемер, командированный куда-то за тысячи верст. Очень долгая, занимательная для меня беседа; я вызнал о землемерии все, что только можно вызнать в такое короткое время; между прочим узнал, каким великим опасностям подвергались землемеры во время генерального межевания и каким оригинальным средством спасались. Для крестьян это было дело невиданное и непонятное, а интересов касались кровных. Когда все попытки к словесному убеждению истощались, а крестьяне свирепели и принимались за колья, наступая на межевщика, он раскидывал астролябию и садился под нее, окружив ее цепью вдобавок. В суеверном страхе крестьяне отступали.

Однако ночь, и собеседник мой со мной распростился. Куда же я? Раскинулись по небу звезды, все тише и тише на улицах. Не только экипажи, но и ваньки замерли. Разве те с громом промчатся, которых так затейливо наименовала одна служанка своей барыне, воображая, что выражается высоким и приличным

материи слогом:

— Настасья, Настасья, — будит встревоженная барыня горничную. — Встань, посмотри-ка, никак пожар! Где? Что? Куда это пожарные едут? —

Встала горничная, посмотрела и лениво ответила:

— Э, матушка барыня! Успокойтесь, это не пожар; это с духовенством проехали.

Да, за полночь уже. Прошел я на набережную. Вот «Волчья долина», знаменитый трактир-вертеп, о котором я наслышался от Перервенца. Зашел бы туда; но у меня нет даже пятачка. Я предался размышлениям, между прочим, о знаменитом соловье, заслушиваться которого приходили тысячи. За четверть версты было его слышно. Набережные были полны слушателями, а трактир выручал тысячи от слушателей-посетителей. Но другой трактирщик-соперник подучил злого человека: подошел гость к дорогому певцу и окормил его. Опустел трактир, опустела набережная.

А вот Каменный мост. Не здесь ли, не в сегодняшнюю ли зиму подшутил Александр Антонович протодьякон над жуликами, дерзнувшими было напасть на него, одиноко шествовавшего ночью? Схватил обоих за шиворот, одного одною рукой, другого другой, перекинул чрез каменную ограду моста и, тряся над шипящею внизу водой, запел своим знаменитым басом: «Во Иордане крещающуся…» Однако здоров Александр Антонович! Ломаются ли и гнутся ли под ним рессоры? Знаменитого «Тверского» придворного протодьякона извозчики, сказывают, перестали возить, не брали ни за какую цену.

Куда же идти? Повернул снова в Александровский сад и направился к любимому месту, к гроту. Там уже есть кто-то, в чуйке, в картузе, лежит на скамье, спит, по-видимому; сомнительный субъект! Однако последую примеру. Я сел, надвинул картуз немного на лоб и скоро задремал. Долго ли я проспал, неизвестно; но когда проснулся, неизвестного в чуйке не было уже. Утро с полным солнцем, и та специальная вонь, которая отравляет самые восхитительные летние утра в Москве. Она, вонь, как будто тоже встает утром и совершает свой туалет. Вечерняя и ночная вонь неприятны, а утренняя и того тошнее, может быть, по противоположности с ярким солнцем и по воспоминанию, которое вызывается о благоухании луга и леса в этот час.

Немного посидев, я прошел в Охотный ряд, чрез Театральную площадь, обогнул Китайскую стену и явился в Семинарию. Приготовление к экзамену, как прошлым годом, как всегда. Вот богословы с тетрадками ходят; ведь им экзамен главный. Вот

младшая братия; ей нет экзамена сегодня; ее потянут завтра. Вот ректор и профессора на крыльце в ожидании владыки.

— Ну, что вы боитесь, что тревожитесь? Соберите все спокойствие, будьте смелее. Чего бояться? Ведь кто? Ведь владыка, ведь он наш отец — чего бояться?

Такими словами успокаивает своих птенцов отец-ректор, держа конспект в руке, которая ходит ходенем.

— Ну, что бояться, чего бояться? — повторяет он, а рука продолжает трястись, и листы конспекта гремят, как будто ветер по ним ходит.

Но вот зазвонили, владыка приехал, его высаживают из кареты и ведут, почти несут по лестнице. Лиловая ряса с белым клобуком выделяется среди черных ряс и черных профессорских фраков с белыми пуговицами.

Зала богословская тесна, она не может вместить всей семинарии, тем более что целая треть отведена для экзаменующих. Скамьи вынесены. Ученики стоят, те классы, которым испытание предстоит ранее других. Вперед протиснуться нельзя, духота непомерная. В этот-то достопамятный день случилось происшествие, повергшее всех в ужас. При тесноте, вызываемые к ответу продвигались, но почти не отделялись от прочих, стоящих позади. Вызывают ученика. Он отвечает частию по собственной памяти, частию по подсказу сзади стоящего суфлера. Встает митрополит внезапно из-за стола, берет собственноручно суфлера и выводит вон с гневным напоминанием, что шепотник по-гречески называется ЄЛЬќЃо об (диавол). Шепотником оказался ученик первого разряда, будущий студент. Пропал он! Нет, не напрасно же говорил ректор, дрожа всем телом и чуть не стуча зубами: «Ведь он наш отец! Чего бояться?» Шепотник только тем и отделался, что его вывела высокопреосвященная рука.

Отошел экзамен, и я направился на Ильинку, где ночевал третьего дня. Пообедал. После обеда является третий брат, Смирнов младший, Дмитрий Васильевич, дьячок из Покровского-Глебова. Человек веселый и любил выпить. Поздоровался со мной.

— Как поживаешь?

Я отвечал с грустью, что очень дурно.

— Exclusus (исключен)? — спросил он с участием.

Он вспомнил, должно быть, свою участь в свое время. «Какая ирония судьбы! — подумал я про себя. — Мне, первому ученику, выражают участливую боязнь, не исключен ли я за малоуспешность!»

— Нет, — отвечал я вслух и передал вкратце свое бегство или

изгнание. С Дмитрием Васильевичем я мог говорить откровеннее; он ближе тех братьев мне по летам.

— Ну, что это, пустое! — сказал он, успокоившись. — А пойдем-ка с нами. Брат, пойдем, — обратился он и к Василию Васильевичу.

Мы отправились в полпивную. Я хотя вообще и не пил, но на этот раз не смел отказаться, боясь огорчить гостеприимца. Я пил осторожно, но два брата — очень изрядно. Василий Васильевич был особенно охотник до пива. Он нажил даже неестественную полноту от пива и пальцы у него были как огурцы. Эти пальцы переживают теперь второй период. Прежде Василий Васильевич был дьячком в Черкизове. В те времена он был не только худощав, но руки его были тем замечательны, что вполне не разжимались. Они имели вид граблей, пальцы не выпрямлялись. Он был необыкновенно работящ: соха, топор, вожжи не выходили из его рук и произвели эту постоянную скрюченность. Но по поступлении в Москву на богатое место, доход которого равнялся священническому и даже превосходил умеренное содержание, добываемое священником среднего прихода, Василий Васильевич пополнел, разботел, расцвел, лицо его закруглилось и залоснилось, а пальцы не только выпрямились, но раздулись: прежде он не мог рук разжать вполне; теперь, наоборот, трудно прижать пальцы к ладони.

— А что, брат, пойдем-ка ко мне ночевать, в Покровское! — пригласил меня Дмитрий Васильевич.

Я рад был идти и дальше, лишь бы ночевать под кровлей. И мы отправились. Но прежде чем выйти за заставу, мы еще порядочно поколесили. Куда-то все нужно было ему зайти. Первоначально зашли в Певчую (переулок, бывший на месте теперешних Теплых рядов). Здесь Дмитрий Васильевич предполагал купить картуз. Долго торговался с картузником, долго выбирал, наконец, купил. Спрыснуть надо; зашли снова в полпивную, оттуда в Охотный ряд, за провизией. Из лавки в лавку. Опять пересмотр товара, опять торговаться четверть часа; наконец и здесь кончили. Отправились куда-то еще, не помню куда, но мы очутились к ночи на Знаменке, совсем не по дороге в Покровское. В большом трехэтажном доме, против Пашкова дома, огни. «Это пансион, — пояснил мне Дмитрий Васильевич, — и здесь бал». Вышли, наконец, за заставу; здесь заходить уже некуда было. Сильно нагруженный, пришел младший Смирнов домой и начал бурлить. Жена качала ребенка в люльке. Приглашая меня к себе, он расписывал Покровское как рай небесный и что я чудеснейшим образом отдохну и освежусь пред экзаменом после двухсуточного мытарства; но оказалось, что он живет в

крошечном чуланчике и мне почти лечь негде. Дом отдан был в наем дачнику.

Какое уж тут было спанье? Хозяин бурлил, придирался к жене; ребенок нет, нет да начинал неистово кричать. Со скрипом качалась люлька, вполголоса идет баюканье. Один глаз у меня спит, другой бодрствует; я был в полусне. Не взяла и усталость после вчерашнего и сегодняшнего путешествия. Чем свет я встал и направился в Москву, не простясь с хозяевами. Они спали, а мне нужно поспевать к экзамену. Я пришел на Никольскую рано, хотя шел не торопясь. Покровскую рощу и всю дорогу до Всехсвятского шел почти шагом, упиваясь свежим воздухом; прибавил шагу только на пыльном шоссе, рядом с недавно разведенным парком. А от Тверской заставы до Никольской — это по тогдашним моим ногам было ровно ничего.

На экзамене я был спрошен, но отвечал всего слов пять. Почти при самом начале ответа мне сказано: «довольно!», и я, сам очень довольный, не замедлил укрыться в задние ряды.

Скоро и кончился экзамен. Радостный, я поспешил с Никольской в Рогожскую. Ямщики окружили.

— Куда, барин?

— В Коломну.

— Леший! Спрашиваешь! Разве не видишь? Это батюшки Никитского сын.

— И то!

Ряда была не долга. Задатка, обыкновенно требуемого, я не дал. У меня ничего не было. Да и зачем задаток? Я сам задаток, лично. Кто повезет? Где кибитка? Жребий кинут; вот кто повезет. Но прежде он пойдет чаю напиться. Накидывается халат синего сукна поверх серого армяка. Пошел мой ямщик в трактир. Но халат немедленно выносится из трактира обратно и накидывается на другого, потом на третьего, все тот же халат. Вышло строгое запрещение: пускать в трактир только чистую публику, серого мужика не смей. Суконный халат есть признак купца иль мещанина — чистая публика, и единственный на постоялом дворе халат переходит с плеч на плечи, поочередно обращая серого мужика в чистую публику.

Через два часа бубенчики зазвенели, и я катил в Коломну.

Глава XLVIII
ИЗГНАНИЕ

Переходные годы были для меня как бы роковыми. Я съездил в Коломну, по возврате явился под Девичье, как бы ничего не случилось. Брат был отходчивый человек. Он не поминал ни слова о моем бегстве, я тем менее. Потянулась жизнь по-прежнему. Прошел год, наступил 1842, второй пребывания моего в Среднем отделении. В виду были экзамены, был июнь в начале. Последовала вторая разлука с братом. Уже не намерение мое ехать в Коломну вызвало гнев и не мое скромное возражение. Едва ли не сапоги несчастные были причиной. Словом, брат вспылил, заметив сапоги ли нечищеные, или другое что, свидетельствовавшее о моей неряшливости и невнимательности. На мое обычное молчание он расходился еще более и, разгорячась окончательно, закричал мне: «Вон ступай! Убирайся, куда знаешь!» Кухарка, по его приказанию, выбросила мои вещи. Это было среди дня, в воскресный день. По обыкновению, не сказав ни слова, я удалился, надев свою голубую шинель и свой парижский цилиндр. Не как два года назад, теперь я знал, куда идти. Перервенец давно описывал мне в самых привлекательных чертах свое новое житье. Вместе с двумя старшими братьями своими и двумя певчими он нанимает квартиру. Совершенно независимая жизнь. Они нанимают кухарку, сами покупают провизию; заниматься никто не мешает; обходится дешево — по разверстке рублей по десяти (ассигнациями) в месяц. Я решился отправиться туда, да и некуда бьио больше. Это не два года назад, когда скитался без ноши. Теперь весь скарб при мне: мой войлок, подушка, белье. На дворе завязал я все это как-то; никто мне не помогал. Взвалил на себя ношу и побрел. Дорогой размышлял о том, каково бывает идти солдатам в походной форме: оружие, ранец, шинель, кивер на голове чуть не в полтора аршина, а в нем накладено чуть не полтора пуда. Мне было не лучше. Палящий жар; я в ватной шинели и с невообразимо громадным узлом на плечах. Понесу на одном плече, устану, перекладываю на другое. Вытянул Поле; а идти Москвой далеко, почти на другой конец, в Сыромятники. Добрел я как-то; малосилен я был, но молод, только что минуло восемнадцать лет; к ходьбе привык. Не помню даже, чтобы приседал где-нибудь. Чрез Кремль, на Варварку, оттуда на Солянку и мимо Рождества-на-Стрелке, чрез Воробино на Воронцово Поле, затем, минуя Садовую, — в Сыромятники. Я помнил дом — Кокушкина; я знал,

что не только квартира отдельная, но дом нанимается отдельный.

Вот этот дом, то есть домик в три окна. Переулок немощеный, но грязи не будет, место песчаное. Направо и налево тянется забор. Двор на левой стороне длинный и широкий, заросший травой. Длинные сараи после некоторого перерыва составляют продолжение линии, на которой стоит домик, а по другую сторону двора, левую, тянется фабричный двухэтажный корпус, в который вход, однако, не с нашего двора. Таким образом, пустынно, и в этом отношении рекомендация Перервенца справедлива.

Было уже к вечеру дело, когда я подошел к будущему жилищу. Перервенец был дома и сидел за уроком; его сожители — тоже дома. Часть их была мне знакома; самый старший брат Перервенца, неизвестной профессии человек; другой брат, помоложе, исключенный из Низшего отделения семинарии и теперь состоящий в вольном хоре певчим; Егор Павлович — тоже певчий из исключенных. Был еще сожитель, Рыжий, его все так и звали; он из Вифанской семинарии, состоял певчим также; но я его не застал, да и вообще потом видал мало.

Взошел я. Перервенец мне искренно обрадовался, с участием выслушал мою историю и с уверенностью успокоил меня за будущее, как мы будем здесь вместе жить и заниматься. На первый раз он принял на себя обязанности моей няньки или экономки и сложил куда-то мой узел. Мне не дали путем осмотреться, как позвали в трактир; надобно спрыснуть новоселье. Отказываться от угощенья было даже невежливо, тем более что я не мог предвидеть дальнейшего. Угощение предлагал брат Перервенца, певчий (Александр), и мы отправились вчетвером, Перервенец с братьями и я. Трактир принадлежал содержателю певчих, и Александру открыт был там кредит. Мы пошли к Яузе, перешли ее по двум дощечкам, перекинутым на другой берег, поднялись в гору и здесь, недалеко от Андроньева монастыря, вошли в гостеприимное заведение. Потребованы были чай и водка. Я водки не пил, а остальные трое не только были пьющие, но впившиеся. Меня даже не спросили, пью я или нет; в обществе, куда я попал, вопроса об этом не допускалось; с представлением о взрослом человеке не укладывалось предположение, чтоб он не пил. Налили всем, и мне в том числе. Отказываться было невежливо, неприлично. Я оскорбил бы радушное гостеприимство, мне оказанное, и в частности Александра, угощавшего нас. А это был добросердечный, благородного характера малый. Бог обделил его умственными дарованиями, но у него были открытое сердце, прямота, честный взгляд, великодушие. Я стал пить наряду с другими и вскоре

опьянел, опьянел так, как не был никогда потом пьян во всю жизнь свою. Я едва мог встать с места и идти не мог без посторонней помощи. Я встал было и плюхнул снова, раздавив при этом свой парижский цилиндр. Много ли угощались мои товарищи, не знаю; но они были, как выражаются, «ни в одном глазе»; если б они и вдесятеро более против моего выпили, они были бы только навеселе.

Надобно было возвращаться назад. О переходе чрез дощечки нечего было и думать; я не мог ступить прямо по мостовой. Мы направились в обход к мосту: я в середине и двое около меня по бокам, ведшие меня под руки; третий из братьев шел сзади.

Сознание меня, однако, не оставляло; напротив, мозг работал сильнее обыкновенного. Я представлял ясно все безобразие картины пьяного, едва передвигающего ноги, двумя ведомого и третьим сопровождаемого. Я видел глубину своего падения, и раскаяние мучило меня. С глубоким отвращением я размышлял о себе, проклинал свое малодушие, уступчивость, с которою, не колеблясь, принял угощение. Что я такое после того? Куда я гожусь? Не было для меня ничего отвратительнее, как вид пьяного. Удивлялся я на людей, находящих удовольствие в питье, с презрением смотрел на людей, отдавшихся низкой склонности; ниспадением с человеческого достоинства и добровольным скотоподобием признавал я всегда пьяное состояние, и сам… Я был гадок себе, и жизнь мне стала постыла. Из меня ничего и не выйдет путного, бросьте меня в воду! «Бросьте меня в воду!» — настаивал я, когда мы переходили мост. Я старался высвободиться от своих драбантов и порывался, но оба они были замечательной силы; они почти унесли меня на берег. «Бросьте меня, я не стою жить!» — повторял я.

Отчаяние, столь открыто выраженное мною, чрезвычайное опьянение, в которое я впал, принесло мне, однако, пользу в том отношении, что новые друзья мои в следующие разы уже не настаивали на угощении и снисходительно увольняли меня от выпивки, уважая мою отговорку, что я слишком слаб.

Привели меня домой и уложили спать. Ночлегом нашим был сарай, огромный и пустой, с сеновалом наверху, который, однако, тоже был пуст. Спали на войлоках, обшитых тиком и лоснившихся от грязи, напомнивших мне Коломенскую бурсу. Крысы бегали, производя возню до самого света; некоторые перебегали через нас, нимало не тревожась нашим присутствием и не заботясь о нашем покое. Все это усмотрел я, разумеется, после; в настоящий же вечер, когда меня уложили, я после некоторого головокружения вскоре заснул и проснулся рано. Встал, и первым моим чувством было удивление: отчего же у

меня голова не болит? Даже у менее напивающихся голова трещит утром, по их выражению, и душа требует похмелья. А я был совершенно свеж, никакой боли в голове и никакой потребности в вине. Вчерашнего как бы не было; оно осталось только воспоминанием.

Скоро, в тот же день, сбежали все радужные цвета, в которых изображал Перервенец свое общежитие. Трехоконный домик разделялся на две половины, из которых одну занимала кухня с сенями, другая была разделена на две клетушки. Небольшой столик, едва достаточный, чтоб установить шашечницу, два стула, из которых один треногий, скамейка и деревянная кровать — такова была вся утварь. Писать было не на чем, хотя была чернильница. Засаленный стол был невозможен; оставалось писать только на подоконнике. Читать нужно было или на крыльце, поместившись на ступенях, или на дворе где-нибудь, сидя на чурбане, а то и просто на траве. Таково удобство для занятий. Квартира не представляла даже ночлега; если бы дожить до осени, не говоря уже до зимы, разместиться четверым для спанья было бы физически невозможно. В каждой коморке не было ширины и трех аршин; поперек улечься невозможно, вдоль тоже: мешала мебель, как ни была она малочисленна.

Сожители утром, а иногда и вечером отсутствовали, трое по певческому ремеслу, старший брат Перервенца по неизвестной причине. По-видимому, он занимался перепиской где-то; но он рассказывал с услаждением о подвигах карманников и валетов мелкого разбора, где у кого что вытащили ловко или у кого выманили что-нибудь; о прежних временах было известно, что Николай был даже в шайке; о настоящем оставалось под сомнением, состоял ли он действующим лицом или только причисленным к штабу.

Все трое певчих состояли в хоре Прокофьева или Прокофия (его называли последним именем), любителя-купца. Вольное певчество тогда далеко еще не было развито, как теперь, когда можно насчитать более десятка частных хоров, из которых каждый считает певчих десятками, почти до сотни. Больших частных хоров было только два: Табачниковский человек в 60 и Прокофьевский — в 80. Трое из сожителей моих были певчими, и все были в силу того если не пьяницы, то любившие выпить и не понимавшие другого житейского наслаждения кроме выпивки, если не считать биллиарда, отчасти и веселого дома: то и другое было, впрочем, более редким удовольствием. Питье доходило до мании, где цель уже отставлялась в сторону, а пили для того, чтобы пить. Принесена бутыль. Кто-то где-то раздобылся деньгами, которых у сожителей вообще не бывало; имея кредит в

трактире, они не выходили из долга у хозяина. В виде закуски припасены свежие огурцы. Пьют по очереди. Все без верхнего платья, в одних рубашках. Пили до того, что нейдет в душу; тогда искусственно вызывали у себя рвоту и снова пили до пресыщения; снова потом вызывали рвоту и опять пили.

Таковы были люди, с которыми доводилось мне жить. Мне они оказывали род сострадательного почтения; сдерживало их, вероятно, положение мое по семинарии, к которому они, по ученической памяти, не могли не питать уважения. Моя воздержность, безучастие при вакханалиях, задумчивое молчание при грязных рассказах оказывали свою долю действия. Ко мне были даже предупредительны, меня старались покоить, хотя я, в сущности, жил на их счет, пришел без гроша и ни гроша не добыл. Я занимал положение дамы среди общества мужчин, и мне оказывали деликатность, как даме: уступали лучший кусок в небольшой трапезе, давали удобнее место и сидеть, и спать.

Наступил какой-то праздник и свободный вечер; открылось новое удовольствие. Против нашего дома была фабрика (помещавшаяся на нашем дворе, стояла, кажется, без работы). Фабричные высыпали с песнями и гармониками. Женский пол был в их числе, и Перервенец не упустил свести с некоторыми знакомства; он считался ходоком по женской части и мастером на любезности, пред которыми склоняется кухарка или фабричная работница. Сожителям он предложил ввести их в открытое им общество. Повлекли и меня. Обширный двор; на нем водят хороводы; в других местах ходят парами или маленькими кучками; некоторые веселятся в одиночку. Есть и совсем не принимающие участия в веселье: задумчиво ходит или сидит; забота должна быть какая на душе. Рядом с воротами у забора длинная лавка, образованная из досок, положенных на камни. Здесь сидят несколько фабричных девиц и среди них Перервенец, потешающий их рассказами. Они покатываются со смеху. Он берет гармонику, играет, поет и пляшет, передразнивая поющих и пляшущих среди двора, изменяя голос, карикатуря лицом, преувеличенно кривляясь станом. Другие из наших подсели и завели отдельный разговор, каждый с одною или двумя. Сел и я, но не знал, что предпринять. Мне оставлена девица с глупым лицом и непривлекательною наружностью. И все-то они, правду сказать, были некрасивы; а эта, сидевшая с краю, показалась мне даже совсем безобразною. Но она пришлась мне соседкою. Я чувствовал себя в глупом положении. На паясничество, которым потешал Перервенец, я был не способен; еще менее имел способности и склонности начинать роман прямо прозаическим концом, как, по-видимому, решили прочие из пришедших сюда

сожителей. Молчать находил неловким, выжидать вопроса тоже. Не думаю, чтобы моя соседка была довольна вопросами любознательности, на которые один я и оказывался способным: Откуда? Как зовут? Давно ли на фабрике? Много ли вас из одной деревни? Сколько народа всегда на фабрике? Какая работа? Тяжело или легко?

Смеркалось, кончился хоровод, разбредаются отдельные кучки и пары. «Ну, девки, пора!» — восклицает и на нашей лавке одна, более других бойкая. «Пора!» — вторят другие и поднимаются с лавки. Я отправился домой, пришли и другие, за исключением Перервенца. Он увлек какую-то далее пределов, допускаемых девичьим целомудрием, и хвалился потом своею победой.

Тяжело мне было провести полтора месяца в такой обстановке. Заниматься не было возможности. Вдобавок у меня не было даже пол-листа бумаги. А приближались экзамены; требовалось усиленное приготовление. Пусть оно меня и не тяготило: я пробегал, приходя в класс, что мне было нужно. Но не было угла, где бы уединиться и спокойно заняться. Я стал бегать. Выручал отчасти Лавров, неизменно приглашавший в трактир. Я перебирал в уме всех родных и знакомых, к которым бы мог зайти. У Смирновых был чаще обыкновенного. Отыскал и еще двоюродных сестер, дочерей дьячка от Иакова Апостола в Казенной, того батюшкина свояка, который навез в Коломну гостей в 1812 году. Обе его дочери оказались при том же приходе, одна за дьячком, другая за пономарем; у одной сын сверстник мне по Семинарии, хотя в другом отделении. Хаживал я и сюда и даже ночевал раз; хаживал я и к зятю Лаврова, дьякону, тому самому, который рекомендовал мне урок у купца. Но ограничен был круг моего знакомства, времени оставалось пропасть, и я не знал, куда с ним деваться. Входил поневоле и в некоторые интересы моих сожителей, те по крайней мере, которые были почище. Несмотря на всю грязь, в которую были они погружены, у них сохранялась артистическая жилка; они ценили пение не только как ремесло, но и как искусство. Три или четыре службы выслушал я по их рекомендации, несколько — исполненных Прокофьевским хором, в котором они состояли. Какое-то «Тебе Бога хвалим» они считали своим совершенством и приглашали послушать. Я был, видел в полном сборе весь хор, смотрел, как сам Прокофий, седой старик с черною повязкой на лбу, постоянно им носимою, одушевленно дирижировал, размахивая руками; слышал хваленых солистов, но живого впечатления во мне не осталось.

Другой раз мы целою гурьбой ходили слушать Чудовский хор

в полном сборе. Он уже был под управлением Багрецова, и тогда только что явилось его известное «Ныне отпущаеши» с диссонансами. Мои певчие были в восторге и признавали, что такая пьеса по силам только Багрецову и только Чудовскому хору. Случай выслушать знаменитое произведение, достойным образом исполненное, представился скоро: Чудовские должны были полным хором петь всенощную у Алексея митрополита в Рогожской. Церковь была набита битком, когда мы прибыли. Надобно было протискиваться, чтобы стать ближе к клиросу. Пение было действительно мастерское, самая же пьеса известна; она, кажется, исполняется и доселе. О впечатлении, произведенном на предстоящих, можно судить из того, что немедленно после того, как замерли последние звуки, кто-то, чисто одетый, но из купцов по-видимому, потянулся к клиросу, поманил певчего ли, самого ли регента и сунул ему в руку десятирублевую кредитку. Это было своего рода рукоплесканием. Если бы не храм, и раздались бы рукоплескания. Да «Ныне отпущаеши» Багрецова и по духу таково, что ему приличнее быть исполняемым в концертном зале, а не в храме.

Глава XLIX
ПОСЛЕДНЯЯ ВАКАЦИЯ

Я не знал, как вырваться из омута, в который попал. Подобно тому как два года назад, немедленно после ответа на публичном экзамене, не дождавшись и конца экзаменной церемонии, я направился в Рогожскую; забежал лишь на минуту в свою конуру, чтоб накинуть на себя свою жандармскую шинель. Весь прочий скарб я там оставил в предположении, что вернусь после вакации. Однако я не вернулся, да и квартира была брошена; общежитие в мое отсутствие разрушилось, и сожители рассеялись; старший из них, Егор Павлович, поступил куда-то на дьяконское место.

Вакацию, проведенную затем на родине, я назвал в заголовке «последнею»; столь же основательно назвать ее и первою. Это была первая и последняя вакация в тесном смысле слова, — единственные вполне гулевые шесть недель, проведенные в течение четырех, пожалуй, и шести прошлых лет. Ни одни каникулы доселе не разлучали меня с делом; я или читал, или писал, учился, несмотря на прекращение учебных часов; жил постоянно в себе, спускаясь и выходя во внешний мир, по неизбежности, есть, пить, вести разговор со встреченным лицом, или, по собственному побуждению, отдохнуть на прогулке, причем, однако, ум не оставался праздным. Но эти шесть недель вышли полными неделями, то есть бездельными. Три года уже, как выдана средняя сестра замуж за дьякона в той же Коломне. Зять Петр Григорьевич был прекрасной души человек, заботливый, внимательный и необыкновенно ровного характера. Чета жила душа в душу, и гармония тем была полнее, что зять хотя и кончил курс семинарии, но в третьем разряде, и был сын сельского дьячка, притом вифанец; сестра же была городская поповна, и притом окунавшаяся в книги: в девицах она почитывала; умственное развитие одного не превозмогало над развитием другого, хотя пройденные пути были различны и духовный запас у каждого был в своем роде. На меня пахнуло тем семейным счастием, которого я не признавал доселе. Тогда я не сознал этого, но душе было тепло, уютно, когда я бывал у Богословских; так называли мы зятнин дом по церкви Иоанна Богослова, где зять был дьяконом.

Я поморщился три года назад, когда узнал, что сестра выдана за «третьеразрядного»; с понятием о третьем разряде связывалось понятие о буйстве и пьянстве. Традиционное сердоболие семинарских начальников никого не спускало ниже второго

разряда за простую малоуспешность, разве проходил случайно до Богословия совершенный уже идиот или протаскивался певчий, не стоивший перевода даже в Риторику. К утешению узнал я потом, что зять, шедший во втором разряде, сведен в третий к самому окончанию курса, по недоразумению, вследствие какой-то действительно буйной истории, но в которой он был побочным, невинным соучастником. Меня коробило сначала и то, что зять, по окончании курса, зарабатывал себе хлеб в частном хоре (Табачникова). Возбуждалось также подозрение о поведении. Однако, несмотря на свой бас, несмотря на пребывание в частном хоре, Петр Григорьевич не опустился, и женитьба на моей сестре была, вероятно, из числа причин, предохранявших его от наклонной плоскости, по которой катятся другие в подобных обстоятельствах. Сестра носила в себе идеал благовоспитанности: это была ее даже болезнь, как и общая наша — молодого поколения Никитских, о чем я пояснял в одной из прежних глав. Она поставила дом свой на другую ногу, нежели у консервативного отца. Здесь был урочный чай утром и вечером. Пивали даже кофе, не настоящий, правда, а цикорный; настоящего кофе я лично вкусил уже на 19 году жизни. Но все же и то был кофе. Заведены знакомства. Дом не был монастырем, как у Никиты Мученика, куда никто не заглядывал и откуда в гости никуда не ходят. Товарищ по Семинарии, а вместе и односелец — столоначальник уездного суда, и молодой дьякон из другого прихода, доводившийся товарищем зятю по званию и должности, а мне товарищем по Семинарии: таково, между прочим, было знакомство. Кроме того, дом зятя стоял на большой проездной улице, и местоположение обращало его в гостиницу своего рода. Родственники и знакомые из сел, в том числе и брат Сергей, не миновали Богословских при приездах в город; происходил обмен новостей. Словом, проводилось время в мирной живости, хотя не без нужды. Но и докучливую нужду отгоняло одно счастливое обстоятельство. Бойкое место, на котором стоял дом, обращало его в доходную статью. Он был небольшой, ветхий, но каменный и притом двухэтажный; о бок с ним еще табачная лавочка, принадлежавшая зятю. Половина верхнего этажа отдавалась жильцам, табачная лавочка приносила доход сама собою; но главным источником дохода был нижний этаж, где помещалась овощная лавка и в ней лавочник Клим или «Климан», как его называли, тут же квартировавший. Лавка Климана только называлась лавкой; это был целый магазин, почти склад. Климан жил серо, происходил из мужиков, но торговал шибко и был богат; считали, что у него побольше ста тысяч. Богатство доставила ему, при скромной жизни, лавка, а лавке — ее

выгодное, ни с чем не сравнимое местоположение на главной проездной улице, притом же рядом с площадью. Климан дорожил поэтому своею квартирой, а зять находил в лавке Климана, а иногда и в кошельке, не оскудевавший запас для удовлетворения хозяйственных нужд. С пособием Климана Петр Григорьевич выстроил потом на месте старого каменного новый обширный дом с каменным низом, по Коломне даже роскошный.

Два года назад, по приезде из своего бегства, я считался еще на линии полумальчика, и жизнь «Богословских» еще не развернулась вполне. Хаживал я к ним тогда часто, но сидел и у Никиты Мученика за книгами, сочинением исторической повести и ведением дневника. Теперь же приехал завтрашним «богословом»; другой в моем положении считался бы уже женихом. Сидевший со мной год назад на ученической скамье, теперь дьякон здешней Спасской церкви — отец семейства, «сам». В глазах других я оказывался тоже «сам»; признание моей самости сказывалось и в обращении со мной, а мое первенство по Семинарии накидывало на меня еще особое сияние. Какая противоположность со сценою изгнания, последовавшего месяц назад! Какая противоположность со вчерашним днем, когда я был «за даму» среди своих сожителей по конуре в Сыромятниках! Ко мне были теперь внимательны, предупредительны; но то было не сострадательным уже снисхождением к моей женственной слабости, а почтением к моему положению. Спасский дьякон явился к Петру Григорьевичу со специальною просьбой, чтоб я оказал честь и пожаловал навестить старого товарища. Одновременно со мной гостил у Петра Григорьевича его родной брат, только что кончивший Вифанскую семинарию, а спасского дьякона навещал приехавший, одного со мною класса, родственник его, гостивший в Коломне у другого родственника. Протопопов был тоже вифанец, хотя, к удивлению, был сын московского священника; почему он попал в Вифанскую, а не в Московскую семинарию, осталось мне неизвестным. Протопопов считал знакомство со мной также за честь себе, из уважения к моему семинарскому положению. Он учился не ахти и, должно быть, сгинул впоследствии; а Иван Григорьевич, брат зятя, и совсем погиб. Женился, получил священническое место, взял за себя сельскую кувалду и запил; его послали во дьячки, и умер он потом от невоздержности. Товарищ-дьякон тоже, как я слышал, запил потом, а задатков к тому, по-видимому, не было в первые годы дьяконства. Такова-то сила обстановки, и отсюда-то вывожу заключение, что Петр Григорьевич сохранился благодаря жене, между прочим. Условия происхождения и учебного курса намечали судьбу брата Ивана; условия служебного положения

влекли по дороге спасского дьякона.

Мы совершали прогулки, малые и большие, отправлялись на рыбную ловлю, ходили по гостям, принимали гостей и по свободным вечерам играли в вист, разумеется, без денег, из одного удовольствия; выучили и меня тогда этой игре. Не могу без улыбки вспомнить, что раз отправлялся я даже на охоту с ружьем. У батюшки было ружье, откуда-то доставшееся в древние времена, с суконною подушечкой на прикладе. Оно бывало в руках моих, и я частенько стреливал еще в детстве, упражняясь, впрочем, больше над воробьями, галками, а главное, над вороном, постоянно каркавшим с креста колокольни. Охота по галкам и воробьям бывала удачна, но досадный ворон так и не дал себя застрелить, несмотря на все пламенное мое желание заткнуть ему глотку и сшибить. И ружье-то было плохое, да и заряд, должно быть, бывал слаб; в наилучшем случае посыплются перышки, взлетит на короткое время, а потом снова сядет каркать свое однообразное призывание. На этот раз мы отправились вчетвером: я, брат Петра Григорьевича, Протопопов и Егор, дьячок от Никиты Мученика, молодой парень, лет на шесть старше меня. Добро бы идти засветло на реку по куликам, а то ночью, в лес, с единственным ружьем и притом без собаки. Но мы надеялись пристрелить какого-нибудь зверя. Разумеется, возвратились ни с чем из своего донкихотского путешествия, разрядив ружье на воздух. Но прогулка все-таки была веселая.

Младшая сестра моя была красавица; на нее засматривались, и это обстоятельство послужило поводом к особенному, впрочем, скоротечному знакомству. Один из преследователей, письмоводитель городнического правления, лишенный всяких вероятностей успеха уже потому, что был женат, искал случая, хотя познакомиться с Богословскими, войти в дом, где сестра часто бывала. Поползновение к этому было отклонено; он попросил тогда Протопопова, с которым свел трактирную дружбу, познакомить его со мною. Зазвал меня Протопопов в трактир; здесь сильно они кутили, упросили и меня выпить рюмки две какого-то вина. В довершение Петр Петрович (так звали моего нечаянного знакомого) затащил к себе в дом. Была уже глубокая ночь. Квартира очень приличная; просторная гостиная с хорошею мебелью. Но поведение хозяина напомнило мне ночи в Покровском, в усиленном виде. Петр Петрович не бурлил, а бушевал, бил бутылки, бросал стулья, с аккомпанементом гитары орал во все горло: «Ты не поверишь», пошлый романс, бывший тогда в ходу. В своих выкрикиваниях, в импровизациях, которые вставлял в текст песни, он посылал намеки по направлению ко мне и к моей сестре. С негодованием выслушивал я пьяные

полупризнания, и особенно отвратительно мне стало, когда на просьбу прислуги «успокоиться и не тревожить барыню и детей» последовало ругательство в таком смысле, что-де пускай хоть издохнут, поскорей дадут мне свободу.

Удостоился и я нежного внимания. У зятя квартировал калмык-купец; он, впрочем, не торговал; жил, вероятно, доходами. Говорили, что он сослан в Коломну за смертоубийство, учиненное в кулачном бою, не только без умысла, но и не по собственному почину. Граф Алексей Григорьевич Орлов вызывал к себе бойцов и борцов драться и бороться с собою и при себе; к числу их принадлежал калмык и слишком неосторожно показал свое искусство, убив какого-то соперника наповал кулаком. Кулачный бой остался навсегда его страстию; он дрожал от вожделения принять участие, когда видел разгар боя; нужно было уводить его, чтобы не подвергать его несчастию вторичного смертоубийства.

Сам калмык был нелюдим, но наши познакомились с его семейством, состоявшим из жены и троих дочерей девиц. Старшей было за двадцать, было ли средней двадцать, не умею определить, а младшей лет шестнадцать. Старшая и младшая носили калмыцкий отпечаток, что не мешало младшей быть очень красивою. Не менее красива была и средняя, но калмыцкого в ней не было тени. Иван Григорьевич, брат зятя, ухаживал за красавицами, за которою и какими способами, не вспомню, да и не интересовало тогда; я выслушивал от него только отзыв о привлекательности калмычек, замечания о подмеченных знаках внимания и шутки над ним зятя, объяснявшего, что еще когда он был в училище, восемь лет тому назад, на старшую сестру зарились; она была и тогда невестой, а, стало быть, теперь уже совсем перезрелая дева.

Я с девицами встречался ежедневно, и не по одному разу в день. Вход в оба жилья верхнего этажа был общий. Неоднократно пивали чай вместе; я присутствовал при варке варенья, которая производима была поочередно то сестрой, то жилицами. Случались долгие прогулки по вечерам, общие обеих семей. Сам я никогда не заговаривал ни с одной; но меня вызывали на разговор, расспрашивали и сами с рассказами обращались ко мне. Иван Григорьевич объяснил мне, что я имею большой успех у сестер, у средней преимущественно. Со смехом принял я это известие; ответил, что это ему показалось, и действительно был в том уверен. Но не далее как на другой день произошел случай, поставивший меня в тупик, а накануне отъезда моего другой, совсем меня поразивший. Вхожу я по лестнице; навстречу спускается средняя из сестер. Она идет своею левою стороной, я

своею, стараясь по чувству приличия держаться ближе к стене. Только что мы поравнялись, вдруг, не знаю, каким образом, оказывается моя рука в ее руке, совершенно мерзлой, так она холодна была, и я слышу дрожащий голос: «Ах, пустите меня». Я не мог опомниться, не находил ни слова, прошел далее, и она спустилась далее. Происшествие было так странно, так самому мне невероятно, что я не решался о том сказать даже Ивану Григорьевичу, несмотря на его продолжавшийся бред о калмычках. Я готов был спросить себя, не приснилось ли мне наяву, тем более что дальнейшая встреча, разговор, прогулки не напоминали ничем о сцене на лестнице.

Наступил день отъезда. Канун я весь провел у Богословских. Среди дня прохожу сенями, сбираясь в сад ли выйти, на улицу ли. Дверь в перегородке, отделяющей нашу половину от жильцовской, приотворяется. Проглядывает головка; меня окликают, я подхожу. «Вы едете?» — «Да, еду, завтра». — «Что же так скоро? Об вас здесь будут скучать. Останьтесь». — «Нельзя; что же делать, надо». — «Ну, прощайте», — и в ту же минуту ринулась она ко мне и поцеловала меня в губы. Как холодны были руки ее во время известной остановки на лестнице, так горячи теперь были ее губы; это был огонь.

Тем кончились наши встречи и разговоры. Чрез несколько месяцев, когда я приехал в Коломну на более краткую побывку, я видел увлекшуюся девушку. С сестрами приходила она к Богословским на другой же день после моего приезда, хотя калмык жил даже на другой квартире. Очевидно, она меня не забыла.

С этой стороны я вообще был неуязвим, и ничто меня так не возмущало, ничто не возбуждало столь сильного негодования, как подозрения брата: иногда от него слышалось, что я будто ухаживаю за крылошанками. Никогда ни малейший помысел не увлекал меня против целомудрия; никогда в отдаленнейших мечтах не грезились мне любовные похождения. Читая об них в романах, я верил им только наполовину, признавая в них отчасти украшенное скотоподобие или напыщенное описание чувства человеческого, но, по-моему представлению, — непременно более тихого, нежели описывается. Опьянеть от любовной страсти казалось мне прямо невероятностию. Муция Сцеволу, Стефана Первомученика, Галилея я понимал, но Вертера отказывался признать, а тем более уважать его или сочувствовать ему.

Не умолчу о поступке, навлекшем на меня гнев брата и действительно, как подумаю теперь, непростительном. В меня влюбилась кухарка. Слово это пошло и, пожалуй, не соответствует делу, но другого не приберу. Она осыпала меня в

глаза восторженными похвалами, настолько прозрачными, что я при всем тогдашнем углублении в себя и далекости от игривых помыслов не мог не понять состояния жалкой женщины. Во мне возбудилось любопытство; вместо того чтобы осадить сразу, я молчал и сохранял выжидательное положение. Дошло до того, что раз я слышу: «Вы, должно быть, так крепко спите, что около вас что ни делай, вы не услышите?» — «Не знаю, — отвечал я, — а, кажется, действительно я крепко сплю». — «А вот я попробую». — «Попробуй». Как сообразил я потом, это было ни более ни менее как предложение ночного свидания, и действительно, чуть ли не в ту же ночь среди сна слышу я прикосновение чьей-то руки к моей руке. Я мгновенно проснулся как ужаленный; негодование, омерзение, я не знаю, как и назвать это чувство, закипело во мне. «Прочь! прочь! пошла вон!» — закричал я, насколько позволяла ночная тишина.

Я тогда вел дневник. По очень дурной привычке, которую брат, к удивлению, не останавливал, дети беспрепятственно рылись в моих бумагах, нашли дневник и поднесли родителю. Брат не воспитал в себе той деликатности, чтобы воздержаться от чтения чужих бумаг; вместо того чтобы прикрикнуть на ребят и запретить впредь низкое подглядывание и подслушивание, он взял дневник, прочел и даже, сколько я мог заметить потом, читал другим. Очень возможно даже, что чтение производилось постоянно, и мне потом снова подкладывали тетрадь. Но роль тайного соглядатая не была додержана. Когда занесена была в дневник история с кухаркой, брат призвал меня, объяснил гадость моего пассивного, как бы изволявшего отношения, всю безнравственность моих выражений, неоднократно повторявшихся в дневнике: «ожидаю, что будет дальше» или: «посмотрю, что дальше».

Удивительно мне теперь эта нравственная неразвитость брата, возмутившегося тем, что молодой человек любопытствует касательно развития страсти, им (невольно) внушенной, и не считавшего в то же время предосудительным шпионить за исповедью, которую излагает другой о самом себе самому себе. Ему невдогад было, что наушничанье, до которого унизился он сам и к которому поощрял детей, гаже психологического наблюдения, которое дозволил я себе. Я вознегодовал на нескромное обследование моих душевных тайн; я пылал гневом, и нравоучения пропали тогда для меня, заслоненные возмутительностию инквизиторства, которого я был жертвой. Но я вспомнил об этом эпизоде своей жизни после, лет семь спустя, когда читал мемуары Фесслера, первого профессора философии, выписанного в Петербургскую духовную академию. Поступок

Фесслера был и совсем мерзок: он производил эксперименты над женой, возбуждая намеренно в ней страсть, которую оставлял без успокоения. Эта отвратительная пытка, достойная воспитанника иезуитов, каким был Фесслер, напомнила мне и о моем: «посмотрю, что будет дальше». Мои наблюдения были без сравнения невиннее. Однако, сказал я сам себе, и ты семь лет назад поступал нехорошо, и нравоучение брата было справедливо. Твой поступок и поступок Фесслера различаются только в степени, а качества они того же. Играть чувствами и слабостями другого, а тем более увлекшегося лично тобою — подло, если судить по кодексу даже языческой нравственности, не говоря уже о христианской.

Глава L
БОГОСЛОВСКИЙ КЛАСС

Пока я находился в изгнании и праздновал последнюю вакацию, исполнилось предсказание Татьяны Федоровны: брат получил священническое место в Новодевичьем монастыре. Извещая родителя о своей радости, он приглашал, между прочим, и меня вернуться. Я последовал зову. Опять ни слова о прошедшем. Я встречен дружеским рассказом об истории посвящения. «Не помяни, владыко, грехов моей юности и неведения», — произнес новопосвященный, благодаря митрополита за свое возвышение. Грехами или, точнее сказать, единственным «грехом юности» брата был необузданный язык, при независимом характере. До митрополита доходили слухи, и вот почему Гиляров Девичьего монастыря не получал повышения, хотя в порядке священноначалия и заслуживал бы. Три года назад на подобную же священническую вакансию в Девичьем монастыре определен был сверстник и сослуживец брата, другой диакон, из второразрядных учеников и не безукоризненной жизни. Но за ним не было греха излишней прямоты. Бессильны были ходатайства и шурина братнина, Геннадия Федоровича Островского, доводившегося в близком свойстве митрополиту и пользовавшегося его благоволением. «Он дерзок, в нем нет смирения, самомнителен», — таков был ответ митрополита. С этими недостатками, однако, так и в могилу сошел брат, и доля его мало украсилась даже с возвышением во священники. Жизнь незазорная во всех отношениях, исправное священнослужение, неутомимое проповедание Слова Божия, не снискало ему отличий. Напротив, за резкое слово, сказанное кому-то из князей Гагариных по случаю какой-то излишней требовательности от девического духовенства, брат спустя немого лет выведен был из Девичьего монастыря к бедной церкви Воздвиженья-на-Овражках, а оттуда, не имея средств купить священнический дом, сам перепросился в приход Св. Владимира, еще более убогий, но где по крайней мере квартира была церковная. Там и скончался он среди нужды, в числе самых заурядных священников, обогнанный по службе посредственностями и ничтожествами, часто полуграмотными, в жизнь не написавшими проповеди, иногда пристрастными и к рюмке, и к картам, но умевшими блюсти свой язык.

На этот раз я заметил в доме брата относительное довольство, между прочим, в виде третьего блюда, являвшегося

иногда даже по будням. Но в общем образ жизни не изменился, и обращение со мной осталось таким же равнодушным, хотя я перешел в Богословский класс, где ход занятий, по-видимому, должен бы возбуждать в брате более любопытства по крайней мере.

А в семинарском положении моем произошла существенная перемена: я перешел грань самую резкую; выражаясь по-нынешнему, кончил общее образование и поступал на курс специальный, факультетский. Так смотрели в старину на «богословов», хотя новая семинарская программа продольным разрезом курса и перестала соответствовать укоренившемуся воззрению. Но программа программой, а предание преданием. Нужды нет, что богословские науки были введены в низшие классы, а класс, числившийся прежде Богословским, был обременен такими науками, как сельское хозяйство и медицина: и профессора, и ученики в мыслях отделяли Богословский класс от остальных, как отличный не степенью, а качеством знаний. Мешать науку с Откровением, по их мнению, не следовало.

Отдам должное старой школе: ее христианские верования были глубоко искренни, и отсюда истекало мнение, что все общее образование должно служить только подготовкой к принятию Откровенного учения и такою притом подготовкой, которая, на основании собственных данных естественного знания, приведет к исканию высшего просвещения в Откровении. На этом-то основании в низших классах о богословских знаниях не заботились: изучению Слова Божия и богопреданного культа места не давалось. Если бы ритор или философ старого времени в своем ученическом упражнении вздумал подтвердить какое-нибудь положение изречением Священного Писания, он получил бы дурную отметку. «Твое дело доказать от разума и опыта» — так рассуждали тогда, в твердой вере, что самостоятельные исследования разума и не предубежденный опыт не могут не привести к убеждению в необходимости Откровения. Богословие, в свою очередь, предполагалось учением цельным, не раздробленным, и оттого, хотя «гомилетика», или учение о проповедании Слова Божия, значилась в курсе особою наукой и, кажется, преподавалась, профессор богословия, он же и ректор, первым делом учил нас, среди уроков богословия, искусству проповедания.

Я сказал: кажется, преподавалась. Да, «кажется»; ее преподавал тот Алкита, или Вахлюхтер, который два года назад поступил было на преподавание философских наук. Но действительно ли слушали мы уроки гомилетики или канонического права и церковной археологии, этого память мне

не сохранила; только о «патристике» я твердо убежден, что из нее уроки были задаваемы. Это означало, что если и преподавались «разные» побочные богословские науки, то ими никто не занимался, и молчаливым единогласием они признавались за детища, самовольно отлучившиеся от родителя. Значилось в программе; пускай значится, но курс шел по-старому, лишь несколько ослабленный. Богословие посократилось, ограничившись догматическим и нравственным с пастырским, тогда как не только гомилетика и герменевтика, но и каноника с литургикой должны бы войти в него, по старым понятиям. Из богословия выделялась только церковная история в тесном смысле; самостоятельность ее содержания признавалась.

В мое время сверх богословия требовали внимания еще уроки по истолкованию Священного Писания, но причина была внешняя: преподавателем состоял инспектор Семинарии. С новою программой совершилось это перемещение инспектора. Дотоле инспекторы неизменно преподавали философию, подобно как префекты в Славяно-греко-латинской академии, которых они заместили. В те древние времена учащие вместе с учениками подвигались по той же лестнице. Начиная с Низшего класса преподаватель со своими учительскими обязанностями переходил в дальнейшие, пока достигал Философии, с чем соединялось звание префекта; из префектов поступали в ректоры и тем самым в преподаватели богословия. Сказывалось господство все того же воззрения, что наука есть подготовка к вере и философия — дверь в богословие. Тогдашнее преобразование не вникло в эту идею, перекроило науки и вместо внутреннего порядка усвоило внешний. Когда классы перестали быть стадиями развития, терялось основание инспектору руководить непосредственным преддверием в богословие. Отсюда перевод его в Богословский класс и кафедра Священного Писания, ближайшая к науке, преподаваемой ректором, и приличная инспектору как монаху.

Толкователь Священного Писания не пользовался, однако, нашим уважением как профессор, хотя его любили как инспектора. Он был не строг; можно было даже обезоруживать его начальническое неудовольствие средством, впрочем, оригинальным — рассмешив его. У нас находился даже специалист для этого. Как бы ни велика была шалость, но если в ней с другими участвовал Павел Воскресенский, все сойдет с рук. Воскресенский брал иногда на себя вину в проступке, которого даже не совершал. Но пойдет к инспектору, начнет резонировать, даже запанибрата усовещивать, как-де не стыдно на пустяки обращать внимание; притворным видом простодушия заставит хохотать инспектора, вызвав на разговор, и дело выигрывалось.

Но в науке Алексий был слаб. Ходило предание, что местом в списке магистров и первоначальным ходом учебной службы он обязан был, во-первых, своему монашеству, а во-вторых, тому обстоятельству, что он оказался как бы крестником великой княгини (Марии Николаевны). Ее высочество пожелала видеть обряд пострижения; тут как раз подоспело разрешение студенту Руфину Ржаницыну принять иночество; пострижение его с переименованием в Алексия и совершилось в присутствии великой княгини.

Сколь, однако, велики были его познания, о том может дать понятие следующий случай, заставивший ребят много смеяться. Зашла речь о том, что в Ветхом Завете открываются намеки на троичность Лиц в Божестве. На это указывает, сказал один из бойких учеников, между прочим, слово лицо, которое по-еврейски употребительно только во множественном числе: паним. «Да, да, — подтвердил, закусывая ус по своему обыкновению, профессор, истолкователь Священного Писания, он же инспектор, — ка-ним — лицо, каним».

Бедный не расслыхал и обнаружил незнание такого слова, которое встречается на второй же строке Библии.

Ректора Иосифа, напротив, и уважали, и любили, и боялись, хотя высокой учености тоже не предполагали в нем; да ее и не было у него; он не имел и магистерской степени. Про себя ребята даже шутили над ним, пересмеивали его, но в самом смехе сохраняли почтительное уважение. Смеялись над его святою простотой, над чистотой его понятий, которая казалась комическою среди окружающей грубости и растления, но в душе тем глубже пред ней преклонялись.

— Ты где это напился? — допрашивает ректор казеннокоштного большого болвана, ввалившегося вчера пьяным в нумер и виденного кем-то из начальства в этом безобразии. — Где это ты так нахлестался?

— Виноват, ваше высокопреподобие, — отвечает болван, состроив смиренно-постную рожу. — Пришел отец, дьячок из села, повел в пол-пивную. Не смел ослушаться родителя; он меня угостил, заставил выпить бутылку пива.

— Бутылку! — воскликнул в непритворном ужасе ректор. — Ты целую бутылку выпил?

— Да, — смиренно продолжал кающийся, воображая, что указанием на такую незначительную дозу такого невинного напитка он совершенно обезоружил гнев отца ректора.

— Так целую бутылку, ц-е-е-лую бутылку! Да как тебя не розорвало! Целую бутылку!

История о «целой бутылке» с тем же ужасом и тем же

недоумением «как не розорвало» рассказана была потом в назидание и предостережение ученикам при полном собрании класса. А ребята посмеивались себе, недоумевая в свою очередь, как же это ректор не знает, что Любимов или Малинин может осушить не бутылку, а целые две дюжины и будет ни в одном глазе, на этот же раз, вероятно, опустошил четвертную, да не пива, а сивухи.

— Вот, бывало, и я так же, — говорил ректор в другое время, — все, что ни напишу, все без толку. Что ж, сударь, трудом, размышлением, прилежанием достиг того, что выучился, да и вас учу. Раз я размышлял и не заметил, как в яму попал. Вот, сударь, а ты что?

Такие рассказы заставляли смеяться; но ректор был высокий труженик, подвижник долга, монах примерной жизни, нелицеприятный начальник. Как детски простодушен и отечески нежен бывал он во вразумлениях провинившимся, так детски радовался успехам и дарованиям учеников. Помню, рассказывал он нам в классе про одного из своих бывших учеников, года три или четыре уже после того, как выпустил его. «Слова не выкинешь, слова не прибавишь — вот как писал!» — с восхищением восклицал добрый ректор и, умильно улыбаясь, несколько раз по своему обыкновению повторял слова, обращаясь то в ту, то в другую сторону к ученикам с выразительным жестом: «Слова не выкинешь, слова не прибавишь, вот как писал!»

И однако его боялись; лишь завидят, бывало, все разбегаются. Это особенно заметно бывало, когда выходил он из класса. Он имел обыкновение засиживать долее звонка. Богословский класс помещался во втором этаже, и распущенные ученики младших классов расхаживали по двору в ожидании послеобеденной перемены, толпились на крыльце. Меня удивляло это бегство пред лицом начальника. «Что за глупая, что за рабская привычка! — рассуждал я в негодовании. — Ректор не зверь. На же, останусь на крыльце». Так и поступил; я был в Среднем отделении. Завидя ректора, сходящего с лестницы, все по обыкновению рассыпались. Я остался сидящим на крылечной ограде. Ректор сошел, поравнялся со мной. Я встал и поклонился. «Гиляров! (он так произносил мою фамилию), — возвысил он голос, обратившись ко мне, — ты что же тут сидишь? Камни протрешь, пошел бы да размышлял. Что за дело сидеть, ногами болтать да камни тереть!» Я поклонился в знак послушания и подумал: а ведь, значит, есть основание, почему, завидев его, все разбегаются.

Закончу описание учительского персонала, к которому мы поступали, Александром Федоровичем Кирьяковым,

преподававшим церковную историю. Это был сама воплощенная деликатность, необыкновенно мягкий в обращении, никогда ни в каком случае не возвышавший голоса, даже тогда, когда раз, возмущенный каким-то грубейшим незнанием ученика, решился наконец вымолвить: «Садитесь… болван!» Но самое это слово «болван», невольно вырвавшееся, произнесено было нежным, почти плачущим тоном. Его любили, но в науке он ограничивался «от сих до сих», и ни одной свежей мысли, ни одного рассказа, который оживил бы внимание и возбудил любознательность, мы не слышали от него.

Если не считать преподавателей греческого и еврейского (на первом был известный уже читателю Алкита, а второй преподавался только желающим, которых, однако, не было и десятка), то вот и весь состав преподавателей факультетских, долженствовавших ввести нас в науку, венчающую наше образование, по отношению к которой все остальное было только преддверие, само о себе сказывавшее, что оно есть первая ступень, знание низшее, недостаточное.

Большинство моих товарищей не рассуждало, училось механически: так сказано или так написано в книжке, и довольно. Но я растерялся. Мученик формальной истины, ум мой искал оснований, сообразия, последовательности. С первого же дня в Богословском классе душа послышала, что здесь я нового ничего не приобрету и в приобретенном крепче не утвержусь. Пробегал я письменные уроки, которыми будут назидать нас в Богословии. Они мне показались детски составленными, нескладно, с противоречиями, никакого вопроса не решающими и ни одного серьезного даже не затрогивающими. Года полтора назад я прочитывал «Богословский курс» Кирилла, рукописный же. То были даже академические уроки, но и они мне показались слабыми, все до перетертости знакомым; я не находил, к чему прицепиться живою мыслию. А семинарский учебник и еще более страдал теми же недостатками. Я не решал себе, чем буду заниматься в последние годы образования, но предшествующим ходом развития само собою предрешалось, что заниматься, чем другие, не буду. Душа не будет в состоянии принять к сердечному убеждению то, чему предложат уверовать; уму не останется работы кроме критической, отрицательной. Таково и оставалось на оба года мое умственное настроение. Все официально преподаваемое казалось мне непоследовательным, неточным, противоречащим, произвольным, даже ложным в том отношении, что сами учители, казалось мне, в сущности не верят проповедуемой истине, а только говорят по заученному, не трудясь размыслить.

Впрочем, не буду прерывать повествования. Достаточно сказать, что я с поступлением в Богословский класс внутри свернулся. Я не сделался решительным отрицателем, потому что к отрицанию ум требовал тоже основания. Вместо одного произвола подставить другой произвол — это мне равно претило; строгий к формальной истине, я остался к ее внутреннему содержанию в раздвоенном состоянии: «Может быть, и это верно, может быть, и то истинно; но то и другое равно неосновательно. Где же основание всепримиряющее и всерешающее, и есть ли оно?» Самый этот вопрос еще только мерцал предо мной где-то вдали, не выступая определенно и не понуждая к поискам. Я оставался в готовности все принять и все отвергнуть, когда предстанут неотразимые основания убедиться. Стоя на полдороге, я напоминал ту простодушную крестьянку, которая сначала неумышленно поставила свечку или приложилась к изображению сатаны на Страшном суде. «Что же это ты делаешь? — укоряют ее. — Ведь ты приложилась к нечистому». — «И, батюшка, — отвечала она, сознав ошибку, — ничего; ведь еще неизвестно, к кому-то попадешь, может, и к нему».

Глава LI
ДВА РЕКТОРА

Продолговатая зала со столами в два ряда, расположенными покоем по наружной стене и примыкающим к ней двум внутренним. В середине третьей внутренней — профессорский стол со стулом. Таково расположение Богословского класса. Мы уселись. Приходит ректор и вслед за обычною молитвой тихим голосом дает вопрос, ни к кому не обращаясь: «Что такое Богословие?» Это было первое его слово к нам, как учителя к ученикам.

— Что такое Богословие? — повторяет он, немного возвысив голос. — Ты!

И ректор пальцем указывает на ученика.

— Что такое Богословие?

Ученик молчит, но можно сказать, что прежде, нежели успел он замолчать, уже ректор обращается к другому, затем к третьему:

— Ну, говори, здесь пришли не дремать, а дело делать: что такое Богословие?

— Богословие происходит от слов Бог и слово, — отвечает, наконец, один.

— Бог и слово! — одобрительно повторяет ректор. — Что же это: слово Бога к человеку иль о человеке, или слово человека к Богу или о Боге?

И прежде, нежели успел задумавшийся ученик ответить, он уже обращается к другому, повторяя вопрос.

— Слово человека к Богу или о Боге, — отвечает кто-то.

— Почему?

— Слово Бога к человеку и о человеке, — решается сказать один из поднятых.

— Почему? Отчего не слово человека к Богу или о Боге? Ты, ты, ты!

После многих таких обращений, вопросов, возражений профессор добивается объяснения, что слово Бога к человеку и о человеке — в Откровении, а слово человека к Богу есть молитва, Богословие же есть слово человека о Боге. Анализ кончен. Все «ты» и «ты», несколько раз поднятые, несколько раз посаженные, получили позволение садиться окончательно. Начался синтез.

Кратко повторяется все то, что добыто перекрестными вопросами и ответами. И объясняя это, ректор все ходит; скажет, пройдет два шага, обернется мгновенно в другую сторону и снова

с усиливающимся жаром повторит сказанное.

Так прошел весь первый класс, все два часа, и мы едва переползли через «определение» науки. Пояснив, повторив, подтвердив, ректор еще не удовольствовался, но заставил кого-то снова резюмировать слышанное.

Второй урок был подобием первого; затем третий, четвертый и далее, тот же порядок: «Здесь пришли не дремать, а дело делать!» Урок, еще не пройденный, проходится первоначально в виде гадательных ответов, даваемых учениками; за ними следует изложение самого учителя, иногда повторенное изложением ученика.

Вместе со введением в Богословие нас принялся учить ректор и проповедничеству. Тотчас после поступления в Богословский класс нам всем уже назначено по проповеди. Но прежде чем писать самую проповедь, мы обязаны были подать ее «расположение», то есть существо и порядок мыслей, которые в ней будут изложены. Чрез несколько дней, когда часть «расположений» уже подана, класс начинался с их разбора.

— Архангельский, — по обыкновению тихим голосом начинает ректор, — мысли твоего расположения?

Архангельский или там какой Воздвиженский начинает:

— В приступе говорится то и то; затем в трактации излагается такая и такая мысль.

— Соколов, как ты находишь это расположение?

— Оно неправильно.

— Неправильно! А я скажу: правильно. Почему неправильно?

— У него члены деления совпадают.

— А что такое члены деления совпадают? Ты, ты… ты!

— Члены деления совмещаются, — отвечает кто-то.

— А что такое «совмещаются»?

— Нет, члены деления у меня не совмещаются, — отзывается проповедник.

— А он говорит — совмещаются! — живо откликается ректор. — Ты объясни: почему?

И так перетирал он нас каждый класс. Острые языки из нас говаривали, что если бы не постоянная обязанность быть наготове к ответу, то после первой четверти часа можно уснуть, с тем чтобы проснуться к концу класса и вновь услышать уже слышанное. Но я с глубоким благоговением вспоминаю об этом наставнике и истинном отце. Лично я и, может быть, многие узнали от него мало нового; содержание уроков было не обширно и не щеголяло глубокомыслием. Но ученики избавлены были от обязанности долбить учебник, хотя и не избавлялись от обязанности готовиться. Они надалбливались вдосталь в

аудитории, а готовиться приходилось им, чтобы не мешкать ответом на вопрос, к следующему уроку, который будет разбираться завтра в классе. Выходя из аудитории, ученик уже знал твердо урок, не мог его не запомнить, заучивал тексты и не мог их не заучивать, потому что в каждом тексте, который приводится учебником, каждое слово прошло чрез ту же процедуру перекрестных вопросов и ответов, смыкаемых окончательным изложением учителя. Тетрадки учебника обращались в конспект, только напоминающий о слышанном и уже усвоенном. Ученики узнавали, пожалуй, и немногое, но знали твердо и знали почти одинаково отчетливо все, первые, как и последние. Какой великий плод и какое изумительное терпение учителя!

Терпение! Нет, я употребил неподходящее выражение. Ректор в классе редкий раз не одушевлялся; от спокойствия он приходил постепенно в больший и больший жар; голос возвышался, движения становились живее; слышались ноты растроганной души.

Урок шел о страданиях Спасителя, отречении Петра. Как живо помню, как ясно представляю фигуру! Слышу патетические слова:

— И кто же? Петр, избраннейший из апостолов, первый исповедавший Его Сыном Божиим. И что же? Отречешься!.. И когда же отречешься? В сию самую нощь, прежде, нежели петел возгласит. И как же? Трижды!., трижды отречешься… прежде, нежели петел возгласит…

Голос уж дрожит, но фигура оборачивается к другой стороне залы, и аудитория слушает снова:

— И кто же? Петр… и проч.

Это в трогательном роде. Вот пример другой, из истории воскресения. Воины объясняют, что тело Распятого и Погребенного украдено.

— Украдоша нам спящим, — приводит ректор с усмешкой это показание стражи. — Хм!.. Украли, когда они спали! Хм! Спали и видели. Как же они видели, когда спали? Если спали, то не видали, а если видели, то как же допустили?

— «Украдоша нам спящим», — повторяется по обыкновению опять то же еще горячее, и еще язвительнее улыбка. — Спали и видели! Видели и спали!.. Видели и допустили!..

Как следовало по семинарскому обычаю, кроме проповеди назначено было нам еще сочинение. Единственная тема дана была ректором во все первое полугодие. Но помимо заданной, обязательной (на латинском языке), от нас принимались, а тем самым и требовались косвенно диссертации произвольные. По

утвердившемуся обычаю, они состояли в развитии вопросов, объяснение которых слышано было в классе. Каждый день при выходе из аудитории ректор получал по вороху таких сочинений, понятно, всегда более или менее коротких по краткости времени, в которое изготовлялись. Писали, можно сказать, вперегонки, и к этому поощряла внимательность ректора, прочитывавшего поданные упражнения немедленно и сдававшего обратно с рецензиями редко позже завтрашнего дня. На чтение посвящался у него вечер, причем почти неизменно приглашался кто-нибудь из казеннокоштных в качестве чтеца, а кстати, и соучастника в рецензии. О количестве труда, который на это клался, можно судить по тому, что из числа моих товарищей некоторые подали до декабря сто упражнений и даже более. А нас было с лишком девяносто. Я не последовал этому примеру. Я привык от сочинения требовать умственного усилия и только духовною работой определял ему цену; я не мог приладиться; мне даже претило под видом собственного сочинения подать механически повторенную другими словами часть прослушанного урока. Не помню, дошло ли у меня даже до дюжины к концу семестра число произвольных сочинений, и я удивляюсь теперь, каким образом еще сохранил я к рождественскому экзамену свое место второго ученика в списке, — второго, а не первого, потому что в Богословский класс переведены два параллельные отделения предшествующего класса: первого Среднего отделения, в котором был свой первый ученик, и — второго, где был я. Судя по тому, как я отнесся к произвольным диссертациям, а еще более к проповедям, по всей справедливости заслуживал я быть отнесенным к числу заурядных, а никак не отличных!

Недолго, однако, мы пользовались своим беспримерным педагогом. К Рождеству он оставил нас, получив назначение на викариатство в Москву же. В силу чего, недоумеваю, но по назначении (однако до посвящения) Иосифа в новый сан рассудилось митрополиту навестить наш Богословский класс и произвести беглый экзамен вызовом нескольких учеников. Владыка был необыкновенно любезен, так любезен, что я вспомнил слова одного князя, сказанные брату, что в обращении со светскими людьми митрополит обворожителен. Зная его как «владыку», которого подчиненные трепетали, к которому идя, молились, чтобы Бог пронес счастливо, я тщетно усиливался представить его в виде светского, любезно беседующего человека. Но таким он явился в помянутое посещение Семинарии: очень хвалил учеников, пересыпал свои отзывы рассказами и, между прочим, на один ученический ответ сказал: «Вот вы умнее г-жи Сталь. Эта известная писательница, говоря о том-то…», и проч.

Таким образом мы остались сиротами. Наступило междуцарствие, длившееся не один месяц. Тревожно осведомлялись мы: кто же будет назначен? Указывали некоторые на Никодима, бывшего тогда ректором, кажется, Одесской семинарии, москвича родом. Другие прочили Филофея, харьковского ректора, бывшего инспектора Петербургской академии. Мекали более на последнего, ждали его не без трепета, но с удовольствием; было известно, что он кончил курс первым магистром, что ему бы черед быть скоро ректором академии, но что-де не угодил обер-прокурору и отправлен в незаслуженную ссылку. Не ручаюсь, насколько было достоверного в молве, но, кажется, действительно Филофей был переведен в Харьков за то, что в его инспекторство распространился по России русский перевод Библии Павского. Самый факт перевода найден был преступным; наряжено было целое следствие; переводы отбирались. В Московскую академию послан был нарочный чиновник, допрашивавший студентов и наставников поодиночке. Среди учащихся и вообще в той части духовенства, которая соприкасалась со школой, этот поход, поднятый графом Протасовым, и вообще все новое направление, называвшееся в тесном смысле «православным», встречено было сильным неудовольствием, так что слово «православие» долгое время школьным миром употреблялось в насмешливом смысле. Дотоле говорили «греко-восточное» или «греко-российское» исповедание, «кафолическая» церковь, или просто «христианство» и «христианский». Самый Катехизис Филарета в первоначальных изданиях назывался просто «христианским» и уже после к своему наименованию прибавил «православный». После того понятно сочувствие и почтительное уважение, с которым ожидали Филофея. Лично я, по слухам заранее уважая будущего ученого ректора, занялся работой, которою намеревался зарекомендовать себя, когда он приедет. В этих-то видах я и приготовил диссертацию «De lapsu angelorum», о которой говорил в одной из предшедших глав.

Но сбылось совершенно вопреки ожиданиям. Никто не думал не гадал, чтобы ректором в Москву назначен был наш же инспектор Алексий, не знавший слово паним. И, однако, так случилось. Филофей, на шесть лет старший по службе и без сравнения превосходивший познаниями, переведен был только чрез несколько лет, да и то сперва в Вифанскую, а потом уже в Московскую семинарию, когда Алексий, шагая быстро, возвысился уже до ректора академии.

Как пошли уроки при Алексии? Ни сократического метода, ни произвольных сочинений, ни тех неутомимых разборов,

которыми не давал ни себе, ни ученикам отдыха Иосиф, не было в помине; потянулось зауряднейшим образом, вяло и механически. Я, в частности, находил удовольствие, выражусь так, дразнить и сбивать ректора. Я бы не дерзнул на то пред Иосифом, хотя подобные же вопросы тревожили меня и тогда. Но Алексия я любил приводить в досаду, хотя пользовался его благоволением и сам его любил.

С поступлением Алексия я мало даже посещал классы. Едва ли много преувеличу, когда скажу, что пропустил целую половину. К концу первого учебного года я схватил перемежающуюся лихорадку, которая потрепала меня сперва несколько недель дома, потом в Голицынской больнице, куда вынужден был я наконец лечь, видя безуспешность домашнего пичканья хиной и прохладительными микстурами. А на второй, окончательный, год часто пользовался возможностью подавать донесение о болезни, тем более что достоверности донесения никто никогда не поверял. Приходилось засесть за какую-нибудь книгу, от которой не желаешь оторваться, или увлечешься каким-нибудь добровольным письменным занятием, и на неделю, на две заболеваешь. Этим дням притворной болезни я обязан первым изучением английского языка и начал итальянского, ради чего обзавелся грамматиками и хрестоматиями (на немецком). В те же гулевые дни я почти вполне перевел с немецкого «Богословие» Клеэ. Это была первая система богословия, которая поколебала мое предубеждение против богословских книг вообще. Всегда жадный до чтения, я просил себе из семинарской библиотеки книг для пособия при сочинениях. Долго не получал ничего, кроме средневековых фолиантов; но они общими местами, которыми переполнены, и схоластическими препирательствами протестантов с католиками мало меня удовлетворяли. Попросив раз толковника на Библию и получив Мальдоната, я даже вознегодовал на себя, что оттянул руку, таща домой увесистый фолиант, в котором потом не обрел ничего, кроме пустословного перифраза вроде того, что белизной называется качество белого, а черным именуется черное. На просьбу дать что-нибудь поновее и притом на современном языке я получил три части Клеэ и поразился с первой страницы, увлекшись содержанием, а далее во всем сочинении восхитившись необыкновенно красивою системой, выдержанною до щепетильности. Авторитет Гегеля во время автора был еще в полной силе, и католический богослов изложил свою науку в гегелевской симметрии, отыскивая всюду два момента, замыкаемые третьим. Введение же сжато сосредоточенным языком излагало понятия о скептицизме, идеализме и (псевдо) реализме, которых, выражаясь гегелевски,

отрицание есть религия. Эти страницы очаровали меня и засадили за перевод.

Изучение еврейского языка привело к другой работе. Этимология еврейская движется внутри слов, выражаясь переменой гласных, тогда как согласные остаются постоянно те же. Я поразился существованием подобного явления в некоторых русских глаголах, из которых первым представился мне губить и гибнуть. Перемена залога, достигаемая переменой внутренних гласных, напоминала еврейское спряжение, и я принялся за составление списка, где повторяется то же явление. Пытался сличением проникнуть даже закон и смысл изменений. Но недостаток лингвистической подготовки остановил работу, и уже долго спустя, через шестнадцать лет, я возобновил ее, но в более широких размерах и на более прочных основаниях, не доведя ее, впрочем, до полного конца даже доселе. Тем не менее и в те юношеские лета, в 1842 году, сличение глаголов отняло довольно времени, оставив по себе памятник в виде нескольких рапортов о болезни.

Несмотря на свое более нежели равнодушное отношение к классным занятиям, я все-таки кончил курс первым студентом. Соперник мой, поступивший первым из первого параллельного отделения Философии, оставил Богословский класс к концу первого же года и поступил в Петербургский университет. Никого затем не предпочли мне, и я заключаю отсюда, что состав учащихся в моем курсе, должно быть, стоял вообще не на высоком уровне.

Глава LII
ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО

Проповеди нам не только были заданы, но предполагалось, что они будут и произнесены, по крайней мере некоторые. С этою целью между нами поделены были все воскресные и праздничные дни наступавшего семестра. Для произнесения назначались монастыри: Заиконоспасский, где помещалась сама Семинария, Богоявленский и Златоустов — словом, те самые, где жили бурсаки и полубурсаки. Дозволение произнести в Заиконоспасском считалось особенною честью и было признаком, что эта проповедь есть лучшая из других приготовленных на тот же день. Помимо того, что настоятелем был здесь сам ректор, который обыкновенно и совершал богослужение по праздничным дням, проповеданию в Заиконоспасском придавала особенную торжественность имевшаяся в нем кафедра. В обыкновенных церквах и соборах проповеди произносятся с амвона, для каждого раза ставится аналой, а в Заиконоспасском красовалась постоянная проповедническая кафедра вверху над левым клиросом у стены, наподобие того, как водится в костелах и кирках. Это был, очевидно, остаток еще от времен Симеона Полоцкого и вообще от ректоров-малороссов; другая подобная кафедра устроена была в церкви Иоанна Воина, на Якиманке, и только две их было во всей Москве. Настоятелем церкви Иоанна Воина был знаменитый по своему времени проповедник Десницкий, впоследствии митрополит Петербургский (Михаил). Думаю, что его проповедническая слава и повела к устройству кафедры.

С первых же дней некоторые из нас, лучшие, в числе полдюжины или с чем-нибудь, представлены были семинарским правлением к посвящению в стихарь. Представление такого рода продолжалось потом в течение целого курса, по мере ученических успехов; некоторые, впрочем, так и оканчивали, не удостоившись посвящения. Я не успел оглянуться, как объявлено было, что в числе других я должен исповедаться у такого-то заиконоспасского иеромонаха, а затем явиться на Саввинское подворье в церковь для посвящения. Исповедь и определенный духовник назначались не только потому, что в день посвящения мы будем причащены и вообще должны явиться к руковозложению (хиротесии) очищенными, но и затем, что засвидетельствовать, достойны ли мы вступления в церковный клир, помимо семинарского начальства, обязан еще духовник. Есть грехи, с которыми

принимать к посвящению запрещают правила, и совести духовника предоставляется veto, без объяснения причин, которые остаются тайной между им и кающимся. «Каяться ли?» — спрашивали друг у друга некоторые из товарищей. Никто из них неповинен был, конечно, ни в татьбе, ни в убийстве, но не все сознавали себя чистыми против седьмой заповеди. Я не решился потом допрашивать, они ли ко греху добавили еще тягчайший смертельный грех, посмеявшись таинству, или же духовник, из снисхождения к современной немощи общества, удовольствовался келейною епитимией, не лишив молодых грешников предстоявшего посвящения? Скорее, было последнее, и на это, в чем нимало не сомневаюсь, имелась общая инструкция от архиерея. Какие строгие епитимии, даже отлучения от таинств, предписываются правилами за грехи, по-нынешнему маловажные! Но уже «Духовный регламент» предписывает, ввиду общего расслабления нравов, прибегать к снисходительности. Если бы духовники судили по строгости, то изо ста едва ли бы даже один, при теперешних нравах, допускаем был до причастия. Строгость может довести кающегося до отчаяния и совсем оттолкнуть от церкви.

Исповедались. Свидетельство об исповеди с письменным разрешением от духовника получено и в общей бумаге переправлено на подворье. До начала обедни мы были уже там. Так как нас предполагалось посвятить в «чтеца, певца и проповедника Слова Божия», то чтение часов пред литургией возложено было на нашу обязанность. По идее чтение нам было экзаменом, а на деле пустою формой. Да не все мы, кажется, и читали; читавшие же пробормотали псалмы не лучше простого дьячка. Тут же совершено руковозложение, причем мы должны были прочесть по строчке и пред архиереем, во свидетельство уменья нашего читать, а он нас «постриг», постриг буквально, то есть снял ножницами несколько волос с головы. Как рекрут под руководством дядьки, механически исполняли мы по команде иподиакона разные формальности пред облачением нас во священные ризы. «Целуй крест, руку преосвященного, кланяйся в землю; кланяйся в землю, целуй крест, руку преосвященного…» — читком, скороговоркой повторял иподиакон, водя нас, и мы ходили куда приказано, кланялись и целовали по команде, некоторые со сдержанною улыбкой.

Подняло мой дух до религиозного восторга первое зрелище рукоположения, которого довелось быть свидетелем в Новодевичьем монастыре, тринадцати лет от рода. Холодом обдала меня церемония полученного самим руковозложения при такой механической обстановке.

Нас облачили сначала в малый фелонь, или фелончик, как его называют, потом в стихарь. Фелончик только и употребляется для таких случаев; никто из клира никогда его не носит. Большинство читателей, вероятно, не имеет о нем даже понятия. Круглый кусок материи и в середине его отверстие для головы, вот фелончик. Когда его наденут, он имеет вид пелеринки, и так как материя очень небогатая, едва ли даже шелковая, то мы и сами себе представлялись комичными фигурами, и присутствующие в церкви, нам казалось, должны смотреть на нас как на шутов. А напрасно. Фелончик, на мой взгляд, даже красив; он есть первообраз действительного фелоня, притом удержавший основной тип в чистоте, чего уже нет в обыкновенном фелоне, то есть священнической ризе. Представим себе тот же кусок, но большего размера, достаточный, чтобы покрыть все тело, а не одни плечи. Представим то же отверстие для головы в середине, да по краям кайму из другой материи, и вот вам фелонь обыкновенный или священническая риза. Таковым он и был в древности. Так как, однако, подобный сплошной мешок не дает свободы рукам, то придумали изменения. Западная церковь усвоила разрез или выемку с боков, давшие свободу рукам; а на Востоке та же цель достигнута тем, что перед вздергивался до груди и тут прикреплялся на петлях к пуговицам. После, из экономии материала или не знаю уже из чего, вместо вздергивания на пуговицы предпочли вырезывать весь перед, с сохранением, однако, пуговиц и позумента, идущего неправильною линией по изуродованному краю. Таков теперешний фелонь, покроем своим бесспорно уступающий древнему и в изяществе, и в чистоте стиля. Но фелончик сохранил чистоту стиля, и если проигрывает в изяществе, то единственно потому, что шьется едва не из рубища; но зато он верный представитель предания.

Первая проповедь мне, как перваку второго отделения, назначена была в ближайший праздник — Воздвижение; первому ученику первого отделения досталась, вероятно, неделя пред Воздвиженьем. Проповедь, а предварительно, как водится, «расположение ее», были написаны, поданы и возвращены с одобрением; однако проповедь не произнесена. Почему? Твердо не помню. Во всяком случае, не потому, чтобы ректор нашел ее негодною, а, вероятно, предоставлено было мне произнести ее в любой церкви. Может быть даже, мне предложено было произнести в Заиконоспасском, но сам я нашел чем-нибудь отговориться. В Заиконоспасском, помнится, говорил на этот раз мой приятель Николай Алексеевич (вышедший из Философии вторым). Помню, как накануне я слушал всенощную в

Заиконоспасском, простоял в самое Воздвижение и обедню. Возле меня стоял какой-то господин, и когда во время причастного стиха Николай Алексеевич начал в виду всех подниматься по лестнице и затем стал на кафедре, бледный как пред смертною казнию, сосед мой воскликнул с выражением досады и сожаления: «Что это такое! Возможно ли так трусить!» Мне, в свою очередь, стало досадно на непрошеного критика, и было жаль своего приятеля, почти потерявшего голос от смущения.

Почему же, однако, я не говорил проповедь? Потому что моя проповедь была для меня отвратительна. Если бы не обязанность представлять все письменные упражнения к экзамену, я бы непременно изорвал свой первый плод церковного красноречия. Я не имел духа даже ни разу посмотреть на него впоследствии. И не потому, что мое произведение было неудачно; со школьной точки оно было сносно. Но оно было плохо в моих глазах уже потому, что оно проповедь. По мне пробегала нервная дрожь, когда я вспоминал, что там, в тетрадях, есть моя проповедь.

Многим в зрелых летах и даже до старости продолжают сниться экзамены, страх пред ними, ощущение мучительной боли от полученной двойки; в холодном поте просыпается сорокалетний муж, отдыхая мыслию, что, слава Богу, это только сон; кошмар принял только форму мучительнейшего изо всех гнетущих впечатлений, которым пришлось в жизни подвергаться.

Снились и мне экзамены; чувство не из приятных, но никогда не доходило до полного угнетения. Понятно: и наяву экзамены в семинарии и академии не имели того всерешающего значения, как в гимназиях и университетах. Можно было, в мое по крайней мере время, сдать посредственно устный экзамен, даже вполне срезаться и тем не менее числиться в отличных, первых учениках; на дальнейшую судьбу устный экзамен, свидетельство о памяти и зубрежке, оказывал малое влияние. Но меня десятки лет посещал кошмар в виде приближающейся обязанности писать проповедь. Беспокойство, страх, невероятное напряжение ума и… полное бессилие! А срок приближается; вот уже остался день, нет, несколько часов, и я неспособен выжать из себя что-нибудь. Я чувствую срам оказанной неспособности изготовить произведение, легко дающееся самому заурядному таланту, даже бездарностям.

Что же это такое? В самом ли деле я неспособен был составить риторическое произведение? Чего! Я писывал проповеди чуть не дюжинами для семинаристов, для дьяконов и священников. Раз, также еще семинаристом, составил для будущего своего тестя такую проповедь на память об освящении храма, что благочинный цензор не находил слов хвалить ее всем

как замечательное произведение. Брат Александр, искусившийся в проповедничестве и очень щекотливый в авторстве, прибегал на старости к моим советам, выслушивал замечания и принимал поправки. Но то было для других, а не для себя. Случалось, когда измученный бесплодными усилиями, не находя ни мыслей, ни слов, я в отчаянии обращался к себе: «Да вообрази, что готовишь не для себя, что тебя просил N. N. О, Боже, хоть бы кто-нибудь обманул меня и попросил на этот день сочинить ему проповедь, а потом сострадательно сказал: я пошутил, это вам именно и назначено». Но моего мучения никто не знает; признаться в нем было мне стыдно, да и приняли бы за шутку, никто не поверил бы. Пишет головоломные диссертации и затрудняется такими пустяками! Но и не затрудняюсь, напишу легко, только не для себя; а когда доходит до собственного лица, теряю всякую способность, в голове путается; я не могу сочетать мыслей, и не приходят слова на ум, не найду о чем писать. Одна тема кажется слишком пошлою, другая слишком натянутою, третья пересыпанием из пустого в порожнее.

Тринадцать лет я носил стихарь на правах «проповедника»: два года в семинарии, четыре на студенческой скамье в академии и семь лет на академической службе. В тринадцать лет я ухитрился подать всего пять проповедей, из них три в семинарии; в одиннадцать же лет академического поприща — только две, тогда как, начиная со старшего академического курса, по крайней мере по одной проповеди в год было обязательно. Произнес же по заказу из пяти проповедей всего одну. Это было в семинарии, как помню, в неделю Мытаря и Фарисея, какие-то общие места о милосердии, совершенно ребяческие. Но чего они мне стоили! В остальных случаях находил способ увертываться, за исключением последнего, о котором стоит сказать особенно.

Я был уже на службе. Случилось, что проповедь назначена мне была на летний Николин день; а на ту пору приехал в Лавру митрополит, которому в таких случаях представлялась проповедь лично на цензуру. В ужасе, о котором доселе не могу вспомнить без содрогания, я просил ректора (Алексия), нельзя ли как-нибудь меня высвободить.

— Нельзя, — отвечал ректор. — Владыка уже знает; он даже спрашивал, кому назначено, и ожидает. Я советовал бы вам пораньше подать, чтобы не затруднять его, а то времени ему не будет.

Я представлял разные резоны: и некогда мне, и диссертаций на руках куча, и лекции на плечах, да наконец, что просто не могу и не умею. На последнее ректор улыбнулся, давая мне понять, что, напротив, он очень даже рад случаю поставить меня лицом к

лицу со владыкой. Он уверен был, что оказывает мне величайшую услугу.

— Уверяю вас, ваше высокопреподобие, это будет такая гадость, что вам будет тошно читать.

Обыкновенные муки проповеднического писательства терзали меня теперь в утроенном размере. Я написал уже действительно нескладное, натянутое, так, что, если бы мне студент или даже ученик семинарии подал такую безобразную хрию, я бы поставил крест. Тем не менее придумать что-нибудь другое ум отказывался.

— Вы мне не хотели верить, — сказал я ректору, принеся проповедь. — Смотрите же, какая гадость.

Ректор выручил на сей раз. Не помню, чем он отговорился от владыки, а мне, отдавая проповедь, сказал:

— Действительно, видна поспешность; напрасно не хотели вы присесть повнимательнее.

Чего «не хотели»! Усилий было потрачено более, чем на целый том самого утонченного научного исследования. Но разуверять ректора было излишне: он бы не поверил.

Я не донес своего произведения даже до квартиры; изорвал его в клочки, едва выйдя из монастырских ворот.

Произнес я по наряду одну проповедь, но сверх того еще сказал одну по собственному желанию и притом экспромптом. Богословом я приехал в Коломну на вакацию. Тетка как-то к слову заметила, что вот Пономарев сын Иван Григорьевич, бывало, как приедет из семинарии, так непременно скажет проповедь и родители утешаются.

— Что ж, — отвечал я, — за этим дело не станет.

— Когда же ты думаешь? — спросил отец.

— Да хоть завтра (разговор происходил в субботу).

На другой день, прослушав дневное Евангелие, я тут же во время литургии подумал с четверть часа и вышел на амвон. Я произнес… бесспорно, лучшее, нежели что прочел о милосердии в Заиконоспасском монастыре, и бесконечно совершеннейшее, нежели хрия на Николин день, готовленная на прочтение владыки.

В этом, кажется, и разгадка психологического факта, невероятного для других, кому я ни скажу. Проповедь коломенская была действительно словом, а те — упражнениями, прикидывавшимися словом.

Проповедь условливается душевным состоянием проповедника. Таково ее понятие. Но тебе же сказано, что себя ты должен запрятать в проповеди подальше. Ректор Иосиф не только ораторские движения, но даже вопросительную форму речи

находил в проповеди неприличною: «Зачем же ругаться?» — пояснял он в таких случаях. Да и в самом деле кто ты? Ни архиерей, ни священник, ни дьякон, ни даже местный дьячок. Итак, ты должен быть безличным чтецом безличной истины и, однако, воображать, что говоришь проповедь, и притом сочинять ее. Но если я только чтец, где нравственное основание выступать мне с собственным измышлением, когда есть лучшие и, наверно, более назидательные лиц более авторитетных?

Во время академического курса, у товарищей своих, поступивших из других семинарий, я нашел также отвращение к проповедничеству, за исключением одного или двух, охотно писавших проповеди и тешившихся ими. Остальные смотрели на проповеди как на занятие унижающее: в пору-де баловаться проповедничеством людям, не доросшим и неспособным дорасти до науки. Но презрительное мнение не отнимало у них способности писать проповеди. Рефлексия их оставляла на полдороге: их творческое отношение в моменты, когда они писали, было, полагаю, то самое, какое у меня, когда я писал для других. Они находили, что это есть низший род сочинений, но не доходили до сознания, что это род и ложный; в самовменении напускных благочестивых фраз не слышали кощунства. Короче сказать: они, может быть, стыдились проповедей, но не совестились.

С которых пор пошло это отношение к проповедям в Московской духовной академии и продолжается ли оно? Причиной не послужило ли учено-изыскательное направление, толчок к которому дан ректором Филаретом Гумилевским (после архиепископом Черниговским) и А.В. Горским? Как бы там ни было, но пренебрежение к проповедничеству тем более было странно, что Академия состояла под главным надзором иерарха, придававшего особенное значение именно проповедям: хорошая проповедь была для Филарета главным мерилом в оценке достоинств.

— Но его проповеди хороши, — отвечал он, когда ему выразили удивление, почему он возвысил Алексия, обойдя не только старших, но и более ученых.

В других академиях было иначе, и особенно в Киевской. Там в проповеди верили; профессор Амфитеатров умел внушить воспитанникам любовь и почтение к этому роду авторства. На что у нас смотрели как на форму, как на внешний долг, в чем видели не более риторики, то в Киеве идеализовалось; проповедями искренно восторгались и прилагали к ним душу. Едва ли ошибусь, приписав это, между прочим, обаятельному примеру высокоталантливого проповедника-художника Иннокентия. У

Троицы же наравне со студентами сами профессора смотрели кисло на проповедничество. Кафедру гомилетики считали последнею, не стоящею внимания те самые, на ком лежало ее преподавание. Ею тяготились, не находя для нее содержания. Так смотрел и профессор, которого я слушал, И.Н. Аничков-Платонов. И его преемник, один из бывших моих слушателей (ныне занимающий епископскую кафедру), также признавал для себя бременем гомилетическую кафедру и искал себе духовного возмездия в усиленном занятии другою наукой, преподавание которой равно лежало на его обязанности. Когда в дружеской беседе сетовал достойный А.Ф. Л<авров-Платонов> на судьбу, присадившую его к бессодержательной науке, я, выразив сочувствие к его ощущению, возразил ему, однако, что можно взглянуть иначе на пустую науку и найти в ней даже более интереса, нежели в каноническом праве, которое по академической программе прицеплено к обязанностям преподавателя гомилетики.

Да, с той отдаленной поры, когда я юношей мучился в бессилии и негодовании над составлением проповеднических хрий, и до того времени, когда происходила упомянутая беседа с профессором гомилетики, протекло много лет. Многое мною вновь продумано, изучено, испытано. Проповеднический род есть ложный род, но в том виде, как он поставлен, а не сам в себе. Гомилетика есть бессодержательная наука, совсем не наука, но потому что она видит в себе не более как прикладную часть риторики. Да для чего же ей смотреть так на себя? Церковное проповедничество не ограничивается выходом облаченного в стихарь или ризу на амвон с тетрадкой и даже не в этом состоит. Проповедническая деятельность есть апостольская деятельность; Апостолы, разнесшие и утвердившие христианство, были прежде всего проповедники. Слово есть одно из двух естественных орудий, которым, наряду с примером, образом жития возбуждается и воспитывается вера. Посмотрите с этой обширной точки зрения на проповеди и изучите законы, которым она подчиняется в своем происхождении и в своем действии на массы, — какое широкое и глубокое поле представляется вашей «бессодержательной» науке! Риторические формы, внешние искусственные приемы отойдут на задний план. Пред вами законы слова и законы души человеческой в обоюдном подчинении законам истории, и под совокупным действием их — слово, в частности, христианской проповеди, назидающее веру и жизнь христианскую в массах.

Слишком далеко бы я зашел, если бы продолжил эту тему. Но безжизненность, преобладание риторики есть факт бесспорный

русской церковной проповеди, и он зависит от неправильной постановки дела. Статочно ли, чтоб именно та цель, для которой и предполагается все духовно-учебное образование, именно она-то и не достигалась? Выходят из духовной школы замечательные ученые и литераторы, деловые люди, а проповедники-то, к чему все готовилось, и отсутствуют? Не вопиющее ли это уродство? Мой пример, может быть и исключительный, назидателен во всяком случае.

1886

notes

Примечания

1

Другой был сын инспектора моложе меня одним курсом, известный потом профессор книверситета и первый редактор «Православного обозрения» Н.А. сергиевский, теперь протепресвитер Успенского собора.

2

«держитесь прямо» (фр.)

3

«Избранные истории» (лат.)

хрию обыкновенную (лат.)

очень хорошо (лат.)

6

«Меблированные комнаты внаем» (фр.)

я имеем (испорч. фр.)

8

Вы говорите по-французски? (фр.)

9

был, имел (устар. фр.)

хозяин и хозяйка находятся дома (фр.)

11

Святославский был сын известного по истории протоиерея Сорокосвятской церкви Вениаминова, убитого в 1812 году французами на паперти за отказ отдать им ключи от церкви. У троих сыновей убиенного протоиерея были три разные фамилии: Вениаминов, Святославский и Григорович. В духовенстве была не редкостью такая прихотливость: родные братья, а фамилии разные.

12

Умер Святославский в 1856 году, как говорили, от размягчения мозга.

13

на Кузнецком Мосту (фр.)